



ВЛАДИМИР
АМЛИНСКИЙ

ПЕРВАЯ
БЕССОННИЦА
7^А

Цена 35 коп.

ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ



ПЕРВАЯ БЕССОННИЦА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1967

РАССКАЗЫ

Р 2
А 62

Художник И. ПРАГЕР

ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОЙ КНИГИ

Эта книга о юности... Юность вмещает в себя почти все, что вмещает человеческая жизнь вообще: любовь, разлуку, поиск цели и дела, увлечения и разочарования, смятение и счастье...

Но юность открывает это, остальная жизнь повторяет, шлифует, уточняет, изменяет. Юность пронзительно таит в себе удивительную яростную силу: силу первооткрытия.

Мир предстает перед юностью вновь — и краски мира ярки и по-утреннему не размыты.

В этой книжке говорится о том, что навеки связано с юностью, о том, что старо и ново, как сама жизнь: о первой любви, первой беде, первом подвиге и первой попытке осмыслить свое существо и смысл своего настоящего и будущего. Юность, как и все прекрасное в мире, не длительна. Она обрывается почти незримо, и ты сам уже не заметил, что скопил и несешь своеобразный груз, который скучно называется «жизненный опыт».

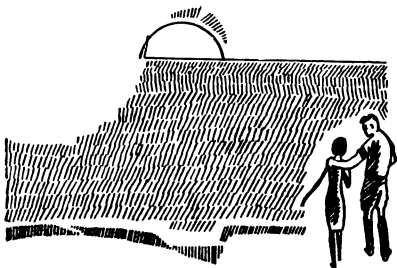
И ты строишь свою судьбу или взламываешь ее, если она сложилась не так, уже наделенный человеческим опытом: опытом не только лишь поступков, но и размышлений, опытом жизни и мысли.

К тебе приходит первая бессонница, а утром ты встаешь и продолжаешь жизнь, идешь из рассветной страны Юности в другую, более суровую и обширную страну, что называется Зрелость.

В эту книгу вошли рассказы, написанные мною давно и, может быть, уже известные вам, и другие, написанные много позже.

Владимир Амлинский





МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ ЗА ПОДСНЕЖНИКАМИ

Весна уже наливалась, и трава неожиданно запахла тихой, еле ощутимой горечью. И Пашка лег на траву, раскинул руки и подумал о том, что в прошлом году именно в этот день он начал ходить в школу без пальто... Был теплый серый асфальт, и прохладный подъезд дома, и словно бы взбесившийся по весне, гудящий школьный двор за решетчатым забором, выкрашенным в зеленое. А теперь этого уже нет... Теперь есть степь, и этот горьковатый запах, и бледное безразличное небо.

— А все-таки здесь лучше! — назло своим мыслям сказал Пашка. — В сто раз, в тысячу раз лучше!

— Ты что это, Павлуха, сам с собой? — удивленно спросил его Коля Махин, прицепщик.

Махину всего четырнадцать лет, он самый молодой в бригаде. А на втором месте — Пашка.

— Сам с собой, — сказал Пашка. — А ты вот не умеешь.

Махин недоверчиво и удивленно посмотрел на Пашку.

— Видали мы... — сказал он и сплюнул.

— Ни шиша вы не видали,— сказал Пашка.— Не умеешь сам с собой разговаривать, пижон.

Пашка забавлялся. Ему почему-то казалось, что Махин туповат, и это одновременно и веселило и бесило Пашку. И еще его раздражало, что каждые три дня к Махину на полевой стан приезжали отец и мать, как к ребенку в пионерлагерь. Они привозили ему конфеты и орехи, и Махин ночью в одиночестве работал челюстями. Он старался никого не будить и заглатывал целые конфетные горошины. Потом он кашлял. Но в остальном Махин был хороший малый.

— Так что, целинник, слабó тебе самому с собой,— лениво сказал Пашка и закурил.

Махин задумался, лег на траву и вдруг быстро проговорил:

— Эх, Русь-тройка. И кто тебя выдумал?..

Пашка нарочито оглушающе захохотал.

— Ладно,— добродушно сказал Махин.— Давай лучше в футболчик погоняем.

Они погоняли минут десять мяч, но Пашке было неинтересно с Махиным. Городские всегда лучше в футбол играли, чем сельские. Да и потом, один на один — разве это футбол?

— Хватит,— сказал он.— Отдыхать надо. Вечером я заступаю в смену.

Они снова легли на траву, и Махин сказал:

— Вон твой идет.

Ну и зрение у этого Махина! Действительно, вдалеке, в голубоватом степном мареве, перечеркнутом травинками, сквозь которые глядел Пашка, виднелась фигура Егора Зубкова, Пашкиного тракториста. Егор стоял на месте, о чем-то задумавшись, и все глядел, глядел на дорогу, точно ждал кого-то. Потом он пошел к ребятам. Он был высокий, Егор, статный, и когда он стоял возле Пашки, Пашка весь вытягивался и делал вдох, чтобы грудь была пошире. Не хотелось Пашке быть совсем чахленьким рядом со своим трактористом. И все-таки, даже когда он надувался изо всех сил, приподнимал плечи и тянул голову вверх и назад, так что чуть не опрокидывался навзничь,— все равно против Зубкова он был что велосипед против трактора «Беларусь».

— Ты еще вырастешь, парень,— говорил ему Зуб-

ков.— Деревцо смолоду в стволе тончит, а потом как заматереет — руками не обхватишь.

И он улыбался Пашке, и Пашка очень любил его улыбку, потому что Зубков улыбаться умел. Здорово он улыбался, радостно!

И улыбаясь, он говорил Пашке:

— Ты еще знаешь какой будешь!

Да, Пашка знал, что он вырастет, и что мускулы его станут крепче, и в высоту он еще, может, возьмет пяток сантиметров. Но ему плевать на эти мускулы и эти сантиметры. Таким он все равно не будет. Таким, как Егор. Таким, который говорит: «В этом году, братцы, я иду учиться», — и учится ночами, когда работает днем, и днями, когда работает ночью, а сырым, промозглым, еще полужимним рассветом, когда Пашка ненавидит себя, степь и небо над своей головой, когда в диски забивается глина и Пашка яростно сбивает ее ломиком, матерясь так, что, кажется, даже у трактора краснеют гусеницы от смущения, — в эти несчастные, проклятые богом минуты Егор сидит в своей кабине, улыбается своим мыслям, а иногда даже поет.

И если Пашка окончательно выходит из себя и садится на мокрую, тяжелую, липучую землю, то Егор спокойно вылезает из машины и делает то, что полагается делать Пашке. А очистив диски, он предлагает Пашке папиросу. Пашка мотает головой, лицо у него делается серое, темное, как пахляк под вечер. Но Егор, черт бы его побрал, не посылает Пашку куда подальше, и от этого Пашке совсем невмоготу. Пашка изнемогает от благородства Егора. А Егор качает головой и говорит:

— Ну и психованные нынче мальчишки пошли!..

«Что ты в этом понимаешь, товарищ Зубков? — думает Пашка. — Что ты в этом понимаешь, бригадир передовой тракторной бригады? Да, ты умеешь пахать ночью и днем, и в снег, и в дождь, и черт знает когда, ты улыбаешься своей белозубой улыбкой и снисходительно прощаешь мне мои слабости. Ты очень добрый, товарищ Зубков. Но посмотрел бы я, каким добрым ты бы был, если бы твои родители при тебе делили свои диваны и подушки, и все пересчитывали, сколько кому подушек и сколько кому стульев, и все обсуждали: «Кто же все-таки будет нести материальную ответственность за Пашку»... Интересно, каким добрым ты бы был, если твоя мать несла бы за тебя

«материальную ответственность», а вечерами к ней приходили какие-то офицеры, разглядывали тебя и приговаривали: «Неужели это ваш? Смотрите, какой большой! Ей-богу, вам надо его прятать — он вас старит». А мать, хихикая, будет отвечать: «Вы уж скажете тоже... Это он на вид только такой. А по характеру и по возрасту совсем ребенок, честное слово, совсем ребенок». А потом она покрасит волосы каким-то водородом и будет ходить на педсоветы и будет там лебезить перед классной, чтобы его летом отправили бесплатно в пионерлагерь, потому что материальное положение очень тяжелое и она задыхается... «Нет, он еще совсем не вышел из пионерского возраста, он совсем еще ребенок».

Интересно, какое было бы у тебя настроение, Егор Зубков, если бы тебе пришлось в конце концов плюнуть на всю эту самодеятельность и, кончив восемь классов, чудесной июльской ночью сесть на товарняк и рвануть сюда, в этот совхоз!.. И конечно, поначалу тебя в совхозе будут называть студентом и будут посмеиваться над тем, что по субботам ты тащишься по бездорожью смотреть кино. А что, если с детства у тебя выработалась привычка смотреть кино по субботам? И конечно, ты бы имел бледный вид вот в такой ненастный, мокрый день, когда надо ковыряться в дисках, а тебе лезут в башку самые неподходящие мысли...»

Но ничего Пашка не говорит своему трактористу. Он просто поднимается с земли, идет к машине и начинает работать. Но при этом он приговаривает: «Мура все это... Мура окаянная». И слова эти имеют свойство целебного бальзама. От них Пашке становится легче.

А потом наступает вечер, незадавшаяся эта смена кончается, и они все вместе сидят на лавке за длинным щербатым столом и рубают отличнейший борщ и запивают его парным молоком. И Пашке в голову приходит одна любопытная мысль: он думает о том, что, в сущности, ему только шестнадцать лет и, как говорится в одной книге запретного, но тем не менее изученного им Мопассана, «жизнь... не так плоха, как о ней думают...».

А рядом сидит Егор Зубков и ест так вкусно, с таким смаком и в таком темпе, что, покоренный этой величественной картиной, Пашка просит у поварихи Нюрочки еще порцию. Нюрочка, которая как-то особо выделяет Пашку

из всей бригады и любит вести с ним длинные полуночные разговоры о кино, охотно откликается на эту просьбу и тащит Пашке тускло блестящую в сумраке алюминиевую миску, до краев наполненную горячим, острым варевом. Затем всей бригадой они собираются в палатке, Егор снимает со стены гитару и напевает: «Я встретил вас, и все былое...» Голос у Егора сильный, мягкий и в то же время чуть надтреснутый, словно морщинка грусти прорезала его. И, когда он поет эту песню, какая-то особая, легкая, сладостная печаль тихо трогает Пашкино сердце, и он вдруг представляет себе, что это о нем поется, но не о нем сейчас, а о нем в будущем... Как через много-много лет он кого-то встретил, и все былое ему припомнилось, и он уже не Пашка, а сухощавый, сильный человек с седыми висками и во френче (почему-то он виделся себе не в пиджаке, а в суровом серо-стальном френче). И Пашку волновала эта песня именно тем, что она звучала каким-то обещанием будущего — обещанием новой, сложной, грустной, может быть, но все-таки прекрасной жизни. И Пашка как бы весь отдавался этому неясному предвидению, которое вырастало из этой песни, из каких-то виденных им фильмов, из полузабытых книжных страниц и постепенно превращалось в выдуманную и смутную страну его будущего. Пашка выходил из палатки, и свет голубых степных звезд ложился на его худые, слишком прямые плечи, и он замирал, и песня теперь шла к нему, как бы издали, приглушенная, и он, одинокий путник, ловил ее на своем пути. Потом Егор кончал петь, и ребята начинали рассказывать анекдоты, а одинокий путник возвращался в палатку и громко хохотал вместе со всеми. Лирика кончалась, начиналась ночь...

А сейчас был день, и Пашка отдыхал после смены, и рядом с ним лежал чужак Махин, который все время прицеплялся к Пашке и лез с ним в дружбу, хотя и был, в сущности, полным малолеткой. А мимо них шел по степи тракторист Егор Зубков. Снизу, с земли, он казался Пашке не то чтобы высоким, а просто великаном, ростом до небес.

— Ну и дяденька твой Егор! — сказал Махин. — Достань воровышка.

— Помалкивай, — солидно сказал Пашка. — Молодой еще Егора обсуждать.

Егор прошел мимо них, но не увидел Пашку. Он все

время смотрел куда-то влево, туда, где пропадала в рыжей степи узкая колдобистая дорога. Вид у Егора был странный: он шел тяжело, невесело, а большие его длинные руки безвольно и утомленно тянулись к земле. Пашка снизу видел эти руки и удивлялся и думал о том, что всегда у Егора другие руки, нацеленные на что-то, занятые чем-то, легкие и веселые...

«А что я о нем знаю, о Егоре? — подумал Пашка. — Он других слушать любит, а о себе рассказывать не очень-то... На людях он всегда радостный, а вот сейчас ему, видно, не до улыбок».

Пашке захотелось встать, догнать Егора и сказать ему: «Ты чего это, Егор? Заскучал, что ли? Пойдем лучше в шахматшки перекинемся».

В общем, что-нибудь такое, успокаивающее.

Но Пашка знал, что никогда в жизни он не решится подойти с этим к Егору — не такой человек Егор Зубков, чтобы его утешать и успокаивать. Наверное, он просто здорово вымотался. Последние дни сменный болел, и они работали дни и ночи, только вспашку вести — это не то, что у прицепа прыгать...

Тяжело доставалось Егору в последние дни.

— Слушай, а правда в больших городах воздух газми отравленный? — сказал Махин. — Я в больших никогда не был, только в райцентре.

— Темный ты, Махин, человек, — убежденно сказал Пашка. — Почти что снежный.

— Ну, это ты уж хватил, — добродушно, но не без обиды ответил Михаил. — Снежный... Что я, снежная баба тебе, что ли?

Пашка расхохотался, стараясь придать своему смеху насмешливо-демонические оттенки. Вдруг Пашке стало скучно. Ему захотелось совершать какие-нибудь поступки. Но попробуй совершай поступки, когда вокруг степь и ни единой живой души! Одна смена отсыпается, другая пашет. Единственный поступок, который ему удалось совершить, был сильный и бессмысленный удар по мячу.

— Сбегай, ты молодой еще, — потягиваясь, жеманно сказал Пашка.

Сейчас он выступал в роли эдакого кудрявого барчука из фильма «Белый пудель». Но роль не удалась. Махин и не шелохнулся.

— Очень нужно,— угрюмо сказал он.— Ты бить, а я бегать...

— С ним шутят, а он в обиду,— сказал Пашка и побежал за мячом.

Потом он помчался, ведя мяч, лихо обводя какие-то жалкие кустики, и наконец сильно пробил, целясь в Махина, но не попал.

— Не тот стал удар,— громко сказал Пашка.— А был когда-то «мертвый».

Он повернулся и зашагал к палатке, где отдыхали ребята. Но в палатке, оказывается, никто не спал. Все, сгрудившись, сидели около входа, прямо на земле. Дело в том, что приехала почтальонша. Почтальонша эта была здесь всего второй раз. До этого в дальние от центральной усадьбы бригады приезжала старушка Клавдия Федотовна, а эта новенькая, Аня, работала на центральной усадьбе в киоске, где продавался всякий товар: и одежда, и мыло, и книги... Но Пашка в совхозе Аню не видел, он видел ее в прошлый раз здесь. Он помнил, как она уходила: она шла очень быстро, и у нее было широкое короткое платье, все в круглых желтых цветах; и казалось странным, что она идет по степи в узеньких туфлях на тонких каблучках... Прямо так и летели эти каблучки по ковылю, по полыни, по какой-то невзрачной низкой траве, и было в этих каблучках и этом платье, похожем на парашют, что-то знакомое Пашке, что-то от весеннего вечера в городе, когда девушек становится очень много и они идут мимо тебя и не замечают, всё идут, идут женской такой спокойной походкой, и у них такие же каблучки и такие же юбки-парашюты, плывущие вдаль, вдаль, в теплую темноту весенних улиц... И поэтому, когда Пашка ее тогда увидел, он хотел ей что-то сказать или даже сказал, но она не расслышала, а только небрежно скользнула по нему взглядом, и Пашка заметил, что у нее темные, узкие, как миндаль, глаза... И почему-то Пашке представилось, что она кубинка. Да — да. Вот кубинки были точно такие же: высокие, тоненькие, с такими же черными миндалевидными глазами. Пашка видел их в кинокартине, и он готов был смотреть на них еще и еще; особенно ему нравилось, когда они несли на плечах автоматы: у них делались такие независимые лица, что Пашка даже щелкал языком от удовольствия. И у этой было такое же

независимое лицо, хотя на плече у нее висела не винтовка, а почтовая сумка... И Пашка, как бы в игру, как бы понарошку, решил, что она и есть кубинка. И, забывшись, он крикнул ей вдогонку:

«Куба — да, янки — нет!»

«Кубинка» остановилась, внимательно посмотрела на Пашку, а потом вдруг прыснула в кулачок... И снова замелькали ее высокие загорелые ноги, поплыли по степному морю ее туфли-лодочки, а Пашка так и остался на берегу.

«Куба — да», — тихо сказал он и поплелся к палатке...

А сейчас она снова была здесь.

Она раздавала трактористам письма.

— Вы, Галушкин, — говорила она, обращаясь к рыжему верткому парню, — должны были бы, по совести, не только сплясать, но и спеть: вам три письма.

— А мне сплясать не предвидится? — спросил Митич, месяц назад приехавший на целину из Белоруссии.

— Вам пишут, — сказала она.

— А мне, Аня? — кричали трактористы и протягивали руки, точно от Ани зависело, получают они весточку из дома или нет.

Все ждали писем. А Пашка был в этом вопросе человек незаинтересованный. Мать писала ему по праздникам: Новый год, Первое мая и т. д. А он отвечал с той же частотой плюс Восьмое марта. Но тем не менее Пашка выдвинулся вперед.

— А много ли писем мне? — сказал он.

— Ну-ка поищи, Анята! — крикнул рыжий. — Интересно, что там нашему Пашке жена пишет.

Все захохотали, и Аня тоже улыбнулась. Пашка был не в восторге от этой шутки, как бы нарочно преуменьшавшей его перед Аней. Но он подыграл рыжему и сказал:

— Интересно, что мне мои детки пишут.

Все снова засмеялись, а Аня сказала:

— Жена вас, видно, забыла.

Странное возбуждение охватило Пашку. Томясь желанием выкинуть бог знает что, говорить какие-то необыкновенно смешные, остроумные, лихие слова и чувствуя, что сейчас его закрепит, занесет и он начнет нести всякую чепуху и околесицу, выкрикнул:

— Меня забыть нельзя! Я незабываемый... Я вроде такой забывудки...

— Вроде чего? — удивленно спросила Аня.

Пашке стало жарко и противно от фальшивых, нелепых, похожих на глазированные приторные пряники, немужских слов, которые он только что произнес и сладкий вкус которых он еще чувствовал на губах.

— Слушать надо, — грубым, скрипучим каким-то басом сказал Пашка.

— Тебя послушаешь — уши завянут, — сказал рыжий.

— Помалкивай! — взвинченно и зло сказал Пашка, чувствуя, что если кто-нибудь станет одергивать его или воспитывать сейчас, при Ане, то он немедленно полезет драться.

Но никто не стал его одергивать и воспитывать. Ребята промолчали, и Пашка оценил это и успокоился. Счастливики, получившие письма, ушли их читать, а те, кому писем не было, с разочарованным видом отправились в палатку досыпать. Кольцо, окружавшее Аню, постепенно истаяло. И Пашка остался с ней один на один.

— Ну, мне пора, — вздохнув, сказала она и встала.

И Пашка понял, что сейчас она уйдет. Не отдавая себе в этом отчета, но желая во что бы то ни стало остановить ее, Пашка сказал тоном привередливого, дотошного клиента, к которому утром пришел почтальон:

— А почему журналы вовремя не приходят?

Аня пожала плечами и сказала:

— У нас здесь, знаете ли, целина. У нас здесь, знаете ли, шоссе нет.

И она сверху вниз посмотрела на Пашку.

Но то ли женское чутье ей подсказало что-то, то ли отнюдь не привередливость прочитала она в выражении Пашкиного лица, но она смягчилась и спросила:

— Какой журнал вы выписываете?

— Во-первых, «Советский экран», — сказал Пашка и добавил, как бы рассуждая с самим собой: — Кино, видите ли, важнейшее из всех искусств...

— Но это во-первых, — перебила его Аня. — А во-вторых, что вы выписываете?

— А во-вторых, газету «Советский спорт», — сказал Пашка. — Я все-таки левого крайнего играю, хотя сейчас и не в форме.

— Скажите пожалуйста! — с каким-то испуганным девичьим выражением сказала Аня. — А журнал «Мурзилка» вы, случайно, не выписываете?

Пашка оторопел, он не ожидал такого удара. Ему ужасно, до боли захотелось схамить, например: «Видали мы мурзилку почище тебя!» Но Пашка понимал, что если он схамит, то он будет дураком. Смешным, оскорбленным, все принимающим всерьез дурачком. А Пашке не хотелось быть дурачком перед Аней. И кроме того, он в упор смотрел на нее и видел черные продолговатые глаза, совсем не злые, не насмешливые, а просто черные, ну, как ночь в степи, что ли, просто черные и очень хорошие — такие глаза он видел в первый раз, может быть, потому, что до этого дня он никогда толком не обращал внимания на женские глаза. «Нет, хамить я не буду, — сказал он себе. — Но я отомщу».

Он еще не решил, как он отомстит. Но, когда он начал решать, другая, шальная, необычайно дерзостная мысль промелькнула в его голове. Сердце его бешено, весело забилось. «Я назначу ей свидание, — сказал он себе. — Да-да, я назначу ей свидание». Он не стал раздумывать, где, когда. Это было неважно. Хоть в Кустанае, хоть в Павлодаре, хоть где угодно! Важно было другое: надо назначить ей свидание и чтобы она согласилась. Чтобы она обязательно пришла. «Как это делают? — думал Пашка. — Как они это делают?» Он думал о взрослых. Он пытался перенять их опыт, он вспоминал, как они говорят и что они говорят в таких случаях. Но он не мог вспомнить, потому что никогда не вслушивался в эти разговоры, во время этих разговоров он выключался, он скучал, как в кино, когда слишком долго показывают производство. И теперь все эти подходы и заходы были им забыты. Какие-то обрывки он помнил, но не мог привести их в систему. Вот точно так же он чувствовал себя однажды в школе: ему досталась теорема, а он не то чтобы не знал ее, он ее представлял, но никак не мог доказать, потому что забыл, с чего все начинается. И потом, сейчас он боялся, что Аня может подумать о нем плохо. Она может не понять, что ему просто хочется побыть с ней, поговорить немножко, походить по степи... Может быть, он даже разоткровенничается с ней и расскажет ей кое-что из своей трудной жизни. С ней, казалось ему, можно говорить обо всем.

— Знаете что,— дрогнувшим голосом произнес он,— знаете что...— придавая лицу выражение мужества и бесстрашия, продолжал он фразу и никак не мог ее произнести. Наконец он набрался сил и бестрепетным, грубым голосом закончил: — Я назначаю вам встречу в восемь ноль-ноль. На центральной усадьбе.

Она закрыла лицо руками. Она держалась из последних сил, и Пашка понял это. У него тоже бывало такое, когда на уроке его щекотали кончиком ручки по шее. Ее раздирал, разламывал смех, и она не могла больше сопротивляться.

— Когда? — краснея от смеха, говорила она и застегивала пуговицу на платье у горла, пуговицу, расстегнувшуюся оттого, что она хохотала, издеваясь над Пашкой.

И Пашка вдруг со страшной остротой и ясностью понял, что он глуп и смешон, а особенно смешон, когда поддельвается под взрослого.

— Ну что ж, матч проигран! — глухо и торжественно сказал Пашка.

Эту фразу он говорил всегда, когда ему что-нибудь не удавалось, когда ему в чем-нибудь не везло. Он сказал эту фразу, и ему вдруг стало удивительно грустно, как никогда в жизни... Он думал о том, что, конечно, ему не придется ходить с ней по ступи и не будет он ей рассказывать про себя, и про Егора, и про эту песню: «Я встретил вас, и все былое...». Ничего этого не будет! «А ведь не такой уж я маленький! — с удивлением подумал он.— Почему-то сам себе я ведь не кажусь сопляком и дурачком вроде Махина... Ведь на самом-то деле я же знаю, что я взрослый, что я не глупее других, что я не хуже многих разбираюсь и в книгах, и в кино, и во всем другом... Только вот в жизни я, может быть, еще недостаточно разобрался». Он торопливо достал из кармана папиросу, закурил, ожидая, что Аня сейчас уйдет. Но она почему-то не уходила.

— А как тебя зовут? — вдруг спросила она.

Пашка так и не понял: хорошо, что она говорит ему «ты», или плохо? Это было и хорошо и плохо, а в целом ничего не меняло. Теперь уже было все равно.

— Пашкой меня зовут,— грустно сказал он.— А вообще-то полностью Павел.

— Ну, до свидания, Пашка,— тихо сказала она.— Ты на меня не сердись, пожалуйста. Я уж такая... Смешливая.

А «Экран» я тебе обязательно привезу. И «Советский спорт» тоже.

— И «Мурзилку»? — укоризненно сказал Пашка.

— Если ты будешь вести себя как сегодня, то и «Мурзилку», — сказала она.

— Я буду вести себя так, как захочу, — твердо сказал Пашка. — Как мне понравится.

Ему вдруг снова захотелось схамить и обидеть ее. Когда доходило дело до этой проклятой «Мурзилки», злость так и охватывала его, но он сдержался.

— Ладно. Веди себя, как тебе понравится, а я пошла, — холодно сказала она.

«А, задело все же! — с радостью и печалью подумал Пашка. — Все-таки ей не совсем уж все равно».

А она повернулась и пошла.

— Знаете что? — неожиданно тоненьким голосом вдогонку ей крикнул Пашка.

Она остановилась.

Пашка подбежал к ней.

— Вы фильм про Кубу видели? — сказал он.

— Видела, но в чем дело? — сухо ответила она.

— Знаете, на кого вы похожи?

— На Фиделя Кастро? — спросила она.

— Нет, не смейтесь! — пылко и серьезно сказал Пашка. — Вы похожи на кубинских девушек, только у них оружие, а у вас вот это. — Он показал рукой на ее сумку. — Но вы похожи, очень... И глаза у вас такие же.

— Какие? — заинтересованно спросила она.

— Не знаю... Как у них... Темные. — Пашка подумал еще немного и, решившись, сказал: — Красивые, в общем.

Он постоял еще секунду, помялся, а потом вдруг ни с того ни с сего круто повернулся и пошел к палатке.

— Куда же ты? — крикнула она ему. — погоди!

Он поколебался, но все-таки остановился. Она улыбнулась ему.

— Лучше проводи меня немного, — сказала она.

— Пойдемте, — важно сказал Пашка.

— Сколько тебе лет? — спросила она.

— Восемнадцать, — сказал Пашка, прибавив ровно два.

— А мне двадцать, — сказала она. — Видишь, какая я старенькая.

«Наверное, она думает, что мне четырнадцать», — подумал Пашка и неожиданно для себя сказал:

— Подумаешь, на четыре года старше.

— Как — на четыре? — притворно удивилась она. — По-моему, на два.

— Действительно, на два... Просто я спутался немного, — сказал Пашка. — Ах, какая разница!

— Математик! — сказала она.

Оба они замолчали. Аню ждала машина. Шофер лежал на земле, спал. Парень, видно, тоже замотался.

— Знаешь что, Пашка, — неожиданно сказала она, — приезжай ко мне на центральную усадьбу в воскресенье. Прямо в почтовое отделение. Я тебе какие угодно журналы выберу. Приедешь?

— Еще бы! — сказал Пашка. Он хотел сказать как-нибудь по-другому, более равнодушно, но у него не получилось. И снова сердце его тревожно, сильно забилося, и ему стало жарко и весело. — Я приеду! — крикнул он. — Да, я обязательно приеду. Мы еще вернемся за подснежниками!

Ему очень нравилась эта фраза. Он не помнил, где слышал ее: то ли в театре, то ли по радио.

— Мы обязательно вернемся за подснежниками, — повторил он.

— За чем? — переспросила она.

— За подснежниками! — торжественно произнес Пашка и осекся на полуслове.

Прямо на него угрюмо, чуть сутулясь, безвольно, как тогда, опустив могучие руки, шел Егор. Глаза у него были какие-то смятенные, шальные. Никогда еще Пашка не видел его таким. «Может, это из-за меня? — подумал Пашка. — Может, я трактор плохо почистил?»

Егор все приближался, и Пашка почти испуганно ждал: что же будет дальше? И вот уже Егор подошел к ним вплотную. Пашка не отрываясь смотрел на него, и ему казалось, что и Егор тоже смотрит на него, Пашку.

— Приехала? — тихо, потерянно спросил Егор.

«Чего это он в женском роде, — подумал Пашка, — чего это он ко мне в женском роде? Или он с ума сошел?»

И только чуть позже Пашка понял, что все это не имело к нему ровно никакого отношения. Никто и не думал о нем. И Аня уже забыла о нем, забыла обо всех этих глуп-

пых разговорах, и о том, что он должен к ней в воскресенье приехать, и о журналах... Она смотрела на Егора, только на Егора, она слушала только Егора, а Пашка был здесь посторонним.

Но Пашка все стоял, все стоял, не двигаясь, все ждал чего-то.

— Приехала? — еще раз сказал Егор. — А я уж думал, не приедешь, как тогда в пятницу... Я ведь тебя три часа под проливным дождем...

Но она не дала ему договорить.

— Егор, милый! — каким-то новым, незнакомым Пашке голосом сказала она. — Не надо так. Ведь ты же ничего, ну ничего не знаешь. Ты думаешь, я не хотела? Думаешь, я к тебе не стремилась?.. — Она взяла его под руку и повела за собой куда-то в степь, подальше от Пашки. А впрочем, она вряд ли думала о Пашке.

— Ну и идите, — вдогонку им сказал Пашка, — ну и идите своей дорогой, а я пойду своей!

И он засвистел что-то лихое и небрежное и ковырнул мягкую землю носком сапога, словно это была не земля, а футбольный мяч, а на сердце у него вдруг сделалось безнадежно тускло. Все то, что внезапно озарило этот день, наполнило Пашку незнакомым ему волнением и звоном, прошло. И Пашке показалось, будто он здорово устал, будто он отработал две смены подряд. «Пойду отдохну, — тихо сказал себе Пашка. — Ночью мне работать». Он старался не смотреть в их сторону, но как-то так случилось, что все же, не утерпев, он бросил взгляд исподлобья влево, туда, где они шли. И он увидел, что Аня держит Егора за руку и что-то быстро и, видимо, очень сбивчиво ему говорит, а он слушает молча, и лицо его постепенно добреет. И Пашка подумал, что она, Аня, совсем не такая с Егором, как с ним, Пашкой, совсем не такая. Нет, с Егором она какая-то маленькая, испуганная, торопливая, вроде как он, Пашка, был с ней. Да и Егор не такой, как обычно. И куда только девались его уверенность, и сила, и веселость. И Пашка с неприязнью подумал о взрослых, и о всяких там их запутанных делах, и о том, что с теми, кто поменьше, они чего-то из себя разыгрывают, притворяются, а друг с другом они вон какие беспомощные. Пашке захотелось эдаким гордым орлом подлететь к Егору, да как хлопнуть его по плечу, да как сказать

ему: «Хватит, кончилось твое время!» Но в этот момент к нему подошел Махин.

— Может, сгоняем в футбольчик? — сказал он.

— Чудак ты, Махин, — устало сказал Пашка.

Нет, он не злился на Махина. Просто Махин не мог понять, что Пашке уже не вернуться в детский, махинский мирок, где любую боль можно вылечить футболом. И Пашка прощально помахал Махину рукой.

Уже вечерело, и степь постепенно теряла свой рыжий цвет и все темнела, темнела, и как-то особенно остро и горько пахло полынью. Пашка лег на траву и стал смотреть в небо и стал ждать, когда появятся большие белые степные звезды. Вдали мелькнули две тесно прижавшиеся друг к другу фигурки. И Пашка вдруг понял, что злость прошла. «А что он мне сделал, Егор? — подумал Пашка. — Что, кроме хорошего? Эх, сколько он со мной возился! Ведь я же совсем непутевый сюда приехал. Да и ему, видно, не просто, только он не такой, как я, у него все спрятано, а у меня все наружу...»

Пашка вдохнул терпкий, дурманный запах, раскинул руки, и, как в те минуты, когда пелась его любимая песня: «Я встретил вас...», он подумал о себе в будущем времени. И ему стало радостно и печально оттого, что и у него это будет и он тоже, как Егор, пройдет по степи не один, и будет решать какие-то трудные, взрослые, может быть даже неразрешимые, вопросы. «А все-таки Егор хороший мужик, — еще раз, точно желая поставить точку над «и», сказал себе Пашка. — Просто у него возраст такой большой, ему уже под тридцать, трудный у него возраст, вот он и переживает». Пашка поежился от холода и с остывающей уже и даже приятной болью подумал об Ане.

Звезды наконец вышли, и стало совсем светло. Вся целинная степь была сейчас светлая, почти белая от звезд. А Пашка лежал в этой степи и, как никогда, любил ее, понимал и чувствовал себя ее частицей. И большие степные звезды ласково положили на него свой голубоватый чистый отблеск.

— Ничего, — произнес Пашка фразу, которую он запомнил по какому-то старому фильму, — мы еще прорвемся!

Потом он помолчал и добавил громко:

— Мы еще вернемся за подснежниками!





МАНСУР — БУНТУЮЩАЯ ЦЕЛИНА

Интернат стоял над разлившейся по весне речкой Чкалдамой.

Река удивила нас внезапным голубым сверканием. Перед этим была только степь, только терпкий запах земли, только жидкий прошлогодний ковыль, только горечь полыни, только блеклое, засохшее, оттого что давно не было дождей, небо — и вдруг эта река, а над нею белый, приветливый, словно бы улыбающийся, дом в степи!

Директор интерната Маканов уже ждал нас. С ходу, едва поздоровавшись, Маканов развернул перед нами величественную картину дел, совершенных во вверенном ему целинном интернате. Он засыпал нас цифрами, рассказывал о кукурузе, выращиваемой его питомцами, о птичнике и «клубе умелых рук». Он делал это добросовестно, как на отчете.

А дети спали. Был мертвый час. Мы уважали дела, творимые в интернате, но нам стало вдруг очень скучно... В сущности, нас интересовали дети.

Когда Маканов закончил свою сводку, мы пошли по хозяйствам. Черно, густо блестела на солнце вспаханная земля, и когда мы посмотрели на нее, то поняли, почему Маканов с таким упоением произносил цифры.

Три года назад здесь была такая же рыжая горькая степь, как та, по которой мы ехали. Совсем юные люди,

забывшиеся сейчас в мертвом сне, пахали и засеивали эту землю...

— Хорошо бы все-таки увидеть детей,— робко заикнулись мы.

— Дети будут,— сказал Маканов.— Будут наши замечательные дети — сыновья и дочери чабанов и пастухов, идущих в наступление на целину.

Мы переглянулись. Чувствовалось, что Маканов читает передовицы газет с особым вниманием и легко запоминает их наизусть.

— В честь гостей дети дадут концерт. Такова уж традиция юных целинников.

Неожиданно к нам подошел высокий, чуть сутуловатый парень лет девятнадцати-двадцати, кивнул нам и обратился к Маканову по-казахски. Парень был явно русский — светловолосый, с чуть вытянутым лицом, с голубыми глазами, устало смотревшими на Маканова.

Мне не раз приходилось слышать, как русские говорят по-казахски: они очень старались и выговор у них был какой-то округлый, мягкий. А этот говорил по-казахски так же быстро, отрывисто, уверенно, как и Маканов. Я не понимал, о чем они говорят. Но одно и то же имя все время повторялось в разговоре...

— Мансур,— говорил Маканов и покачивал головой.— Ай, Мансур!

— Да, Мансур! Мансур! — подтвердил второй.

Вся торжественность и официальность разом слетели с Маканова. Чувствовалось, что он чем-то не на шутку встревожен. А второй вежливо разделял озабоченность Маканова, но все время чуть улыбался, точно в глубине души не принимал происшедшее всерьез. Но вот Маканов спохватился, что гости позабыты, и повернулся к нам.

— У нас замечательные дети... Но есть и другие... Есть и такие... — Он так и не нашел подходящего слова. Он сурово нахмурил брови, словно показывая нам, что есть дети, которые не могут вызвать у человека ничего, кроме гнева.— Николай! — позвал он белокурого.— Собери детей в красном уголке. Будет концерт... И чтоб Мансур был...

— Мансур? — Николай удивленно поднял брови.— Мансур не пойдет.

— Как так не пойдет? — рассердился Маканов. — Ты приведешь его с собой. И он будет играть на кобызе.

— Мансур не пойдет, — упрямо повторил Николай. — И он не будет играть на кобызе. Уж я-то знаю Мансура.

— Ты воспитатель или ты кто? — сказал Маканов.

— Я воспитатель, директор, — тихо ответил Николай. — Но Мансур все-таки не придет...

Маканов снял с головы тибетейку и нервно сунул ее за кушак. Жест выражал недовольство. Бархатная черная тибетейка как бы тушила блеск его маленьких, необыкновенно быстрых и горячих глаз. А теперь они засверкали вовсю. Маканов сердился. Я, не зная причины, с удивлением смотрел на Маканова. И я видел морщины, резкие, графически четкие, на его коричневом, ровно, крепко обожженном солнцем лице, морщины на лбу и переносье, и лысеющую, совсем седую голову... Да, видно, нелегкой ценой дались ему эти гектары, и белые постройки, п птицеферма, и все, о чем он говорил вначале так скучно и торжественно. А теперь еще этот таинственный Мансур...

— А, Мансур! Какой нехороший, какой нехороший! — с горечью прошептал директор. Но тут же он вновь надел на себя тибетейку, и лицо его сделалось непроницаемо важным. — Прошу дорогих гостей в красный уголок...

В красный уголок между тем стайками врывались девочки в коричневых школьных платьицах и синих шароварах. Увидев нас, они начинали смущаться и смущались долго и упорно, отводя в сторону жаркие раскосенькие свои глаза и бормоча что-то...

— Дети, к нам приехали гости из Москвы, — сказал Маканов. — По нашему обычаю, мы не можем отпустить гостей без угощения... А лучшим угощением будут ваши веселые песни.

— А не бесбармак! — буркнул какой-то мальчишка, настроенный явно скептически.

— Ай, какой нехороший!.. Ай, какой невоспитанный!.. — сказал Маканов и развел руками.

И в этот момент в комнату вошел Николай. Он был один. Без Мансура. Маканов внимательно посмотрел на него и ничего не сказал.

— Ладно, споете, дети, «Бульме», — сказал он устало и взял домбру.

Я не знаю, что такое «Бульме». Но это слово задорно вырывалось из общего потока, и казалось оно необычайно заразительным, звонким, каким-то вкусным: может быть, это происходило от того, что я не знал его смысла. Бульме, Бульме! Оно походило на стук весенних капель по крышам. А потом вышла очень полная и рослая девица, туго запеленатая в школьную форму, и невероятно тоненьким голосом, как бы вибрирующим на краю пропасти, вибрирующим, но не срывающимся, спела смущенно, но старательно песню о целине. Она подыгрывала себе на домбре, и Маканов, глядя на нее, оживал и делал что-то губами, видимо неслышно ей подпевая.

А потом, после концерта, взятые в железные тиски местного гостеприимства, мы сидели на кошме на особом «гостевом» месте и пили, обжигаясь, густой, подернутый молочной пленкой жира суп сурпо и терзали баранью ногу, выданную персонально гостям.

Я сидел рядом с Николаем, напротив еще несколько учителей, а у самовара, самого что ни на есть русского, лучистого самовара, восседал Маканов. И я всячески пытался подражать Николаю и тому, как ловко он брал своими тонкими сильными пальцами щепотку лапши, как он ловко, даже изящно обрабатывал косточки, тому, как неторопливо и раздумчиво прихлебывал чай и, наконец, как бы подводя всему этому черту, поставил пиалу ребром, что означало конец чаепития.

Да, мне нравился Николай, нравилось удивительное сочетание русской непринужденности, даже чуть небрежности, с азиатской мягкостью, спокойствием, терпимостью. Я ничего о нем не знал... Но он как-то неожиданно вписывался в эту обстановку — с кошмой, на которой, поджав под себя ноги, сидели люди, с тульским сияющим самоваром, с огромным общим блюдом, как бы символизирующим людское братство. Внезапно я тронул Николая за плечо и с восточной обходительностью сказал ему:

— Можно вам задать вопрос?

— Пожалуйста, — сказал Николай.

— Как Мансур? — сказал я. — Как поживает таинственный Мансур? И что вообще он собой представляет... Если, конечно, он не засекречен.

— О, Мансур! — протянул Николай, и улыбка его

вдруг стала почти нежной.— А вы бы хотели на него взглянуть?

— Мечтал бы! — воскликнул я.

— Это зависит от Маканова, — сказал Николай.

— Давайте бросимся перед Макановым на колени.

— Маканов этого не любит. Он любит, чтобы все по порядку... — И тут же Николай по-казахски что-то спросил у Маканова. И в вопросе опять прозвучало характерное, отрывистое «Мансур» с ударением на первом слоге. Маканов колебался. Он был явно недоволен Мансуром. Я был уверен, что он откажет. Но при его недовольстве Мансуром были, видимо, в макановском сердце какие-то струны, которые мгновенно отзывались на это имя... И, подумав, Маканов произнес какую-то короткую фразу. Он разрешил, Маканов.

Мы шли к таинственному Мансору вдвоем с Николаем. Мы прошли длинным интернатским коридором, потом свернули в какой-то тупичок.

— Только учтите, вам к Мансору заходить не стоит.

— Так зачем же мы вообще пошли сюда? — сказал я.

— Вы не пожалеете... Погодите, не торопитесь.

Николай своим ключом открыл дверь и вошел в комнату, где и находился, должно быть, таинственный Мансур. Он был здесь, рядом, за тонкой щелястой стеной. Мне мучительно захотелось увидеть его, увидеть именно со стороны, и, снедаемый любопытством, я прильнул к круглой, как глазок, щели. В конце концов Николай и взял меня для того, чтобы я посмотрел на Мансура.

И я увидел, как Николай прохаживается по маленькой пустой комнатенке, а на полу, поджав под себя ноги (хотя рядом стояла кровать), сидит мальчик лет тринадцати. Прямые иссиня-черные волосы падали на лоб и как бы делили его лицо надвое. И, отделенные друг от друга этой черной прядью, мерпали большие, широко расставленные глаза, смотревшие на мир сумрачно и очень внимательно.

Какая-то скорбность была в его позе и в этих расколых больших внимательных глазах.

— Ну, так что? — сказал Николай. Для меня он говорил по-русски.— Ты доволен случившимся?

— Да,— твердо сказал Мансур.— Я доволен.

— Ты доволен тем, что чуть не свел директора в мо-

гилу, а меня заставил три ночи провести в седле? Ты, видно, очень доволен этим...

— Нет, этим я недоволен,— сказал Мансур.

— Чем же ты доволен, Мансур Амиров? — сказал Николай.— Скажи мне, не таись. Ведь еще недавно ты относился ко мне совсем не так плохо.

— Я и сейчас отношусь к вам неплохо. Я хорошо к вам отношусь, Николай-ака. И все-таки я доволен.

— Я не понимаю тебя, Мансур.

Мансур задумался. Я видел, как прямые и гордые его брови сошлись у переносья и лицо сделалось вдруг взрослым, суровым.

— Я повидал степь, Николай-ака. Да, я повидал степь. Я соскучился по ней. Я давно уже должен был ее увидеть.

— Разве тебе мало той степи, что за окном? — сказал Николай.— Разве это не степь?

Мальчик снова задумался. Потом он посмотрел на Николая и сказал с какой-то неожиданной усталостью:

— Это другая степь. Я хотел видеть степь своего отца. Я хотел видеть свою степь. Ту степь, что у Байгабула.

— Ну и как та степь? — спросил Николай.— Она изменилась?

— Да, она изменилась,— с тревогой сказал мальчик.— Там много людей, новых людей. Я их не знаю. Много машин. Машины — это хорошо... Но если их слишком много, лошади начинают бояться.

— Лошади привыкнут,— сказал Николай.— Машины никогда еще не обижали лошадей. Ты это знаешь, Мансур.

— Знаю,— тихо, неуверенно сказал Мансур.— Но лошади не знают этого...

— Пастухи объяснят им,— сказал Николай.— Это уже дело пастухов. А твое дело учиться и играть на кобызе.

— Да, но у меня отняли кобыз,— сказал Мансур.

— Отняли потому, что ты обидел нас. Ты обидел Маканова и меня.

— Ты не понимаешь, что такое степь,— с неожиданной горечью сказал Мансур.— Ты русский, ты этого не понимаешь.

— Я понимаю это не хуже тебя,— твердо сказал Ни-

колай.— Степь мне мать и отец, так же как и тебе. Я вырос в степи. Но я же не убегая в степь, не оставляю тебя одного. А ты оставил меня.

— А ты скучал? — робко и как-то настороженно спросил Мансур.

Николай молчал.

Сильно задувал ветер, окна звенели, и мальчик напряженно, пристально, в упор смотрел на Николая и ждал, ждал ответа.

— Да,— сказал Николай.— Но не будем об этом.

И мальчик вдруг улыбнулся. Он улыбнулся счастливо и спокойно. Ему, видимо, было нелегко, этому мальчику. Слишком много противоречивых и достаточно сильных чувств билось в его сердце, билось, сталкивалось, не давало ему успокоиться и раскачивало его сердце из стороны в сторону, как маятник.

— Ты обещаешь мне, что этого не будет? Никогда не будет? — нахмурившись, сказал Николай.

— Никогда? — переспросил мальчик и задумался.— Я не знаю, что такое «никогда». Никогда — это слишком долго...

Оба они замолчали, и я почему-то подумал, что и молча они понимали друг друга, хотя смотрели на некоторые вещи по-разному.

— Ладно,— сказал Николай.— Маканов разрешил мне дать тебе кобыз. Но не потому, что он простил тебя, а потому, что он боится, как бы ты не разучился играть. Он говорит, что ты стал слишком легкомысленным. Теперь для тебя и музыка ничто.

Мансур вспыхнул.

— Я разучился? — сказал он.— Принеси мне кобыз, и я покажу вам всем, как я разучился.

Николай вышел из комнаты и запер дверь.

— А мне нельзя войти к нему? — прошептал я.

— При вас он не станет играть. Он никогда не играет при чужих.

Я хотел было объяснить Николаю, что я не чужой, но не успел. Николай уже шел за инструментом, шел мягко, босиком, и при свете синего ночника его фигура казалась причудливой, странной, будто это был всадник, только всадник без лошади. Но вот он появился снова, уже с инструментом в руке.

— Да, он никогда не играет при чужих, — шепотом повторил Николай. — Беда, беда с Мансуром... И на соревнование его не выставишь. Мансур — это целина. Невспаханная целина.

— Целину надо поднимать, — сказал я несколько назидательно.

— Поднимем. Поднимем. Только люди — это посложнее, чем земля. — Он улыбнулся ласково и грустно и потрянул головой. — Да-а. — Должно быть, он подумал о Мансуре. Затем он посмотрел на меня и сказал: — Вы выйдете из дому и подойдите к окну. А я открою окно... Сквозь дверь плохо слышно.

Я вышел на улицу, сел на солому около окна. Горько пахло кизяком. Овцы уныло, точно жалуясь на кого-то, блеяли, и голоса у них были старческие. Но никто не слышал их жалоб, было тихо, очень тихо, тишина была слева, и справа, и всюду — она простиралась над землей на многие километры... И вдруг в тишину эту вошел чей-то легкий и освобожденный вздох. Не вздох усталости — вздох радости. Кто-то тихо, но звонко засмеялся. Я приподнялся и посмотрел в окно. Это смеялся Мансур. Обими руками он держал свой инструмент и смеялся. Его наказали — у него отняли кобыз, а теперь над ним сжалились и вернули то, без чего он не мог жить. Он стукнул костяшками пальцев по деревянному корпусу, поудобнее уселся, словно прилаживаясь к кобызу, деловито пощупал струны. Лицо его вдруг озабочилось, повзрослело, точно все до того момента, как он взял инструмент, было суетой, несерьезностью, чем-то второстепенным, а дело-то будет только сейчас.

Он начал играть очень тихо, я даже не почувствовал, не увидел первого побега мелодии. Я увидел ее уже в росте, когда она поднималась, крепла, мужала на глазах.

А мальчик сидел на полу, полузакрыв блестящие, сумрачные глаза, и прислушивался к своим пальцам, тоненьким, с обкусанными ногтями, с темными обводинами на костяшках, и, верно, был ими недоволен.

Ему, видно, хотелось, чтобы они были чутче, его пальцы, чтобы они поняли самые горькие и самые радостные его мысли, спрятанные от людей.

Мансур играл спокойно, меланхолично, импровизируя,

иногда нарочно ломая мелодию, шаря на ощупь, в поисках какой-то новой, не известной ему еще интонации.

Не было в позе его вдохновения. Просто сидел, чуть насупись, о чем-то своим думая, и наигрывал, наигрывал...

О чем он играет? Я мог только догадываться. Мне казалось так: о степи, о рыжей, о далекой, о пахнущей сладкой горечью полыни, о смыкающейся с небом, о той, что ждет дождя... А может, и не об этом. Но в песне было что-то от степного весеннего ветра — теплого, обещающего перемены, идущего издалека, несущего иногда радость, иногда беду... Видно, хорошо слушал этот мальчик степь. Видно, пустынная ее душа была ему небезразлична.

И, слушая его, я вдруг вспомнил толстую и симпатичную девчонку, игравшую на домбре. Для нее это был урок. И выполнила она его добросовестно и бесталанно, как ученица, никогда не забывающая сделать домашнее задание.

А здесь был мастер. Маленький степной мастер, срывающийся, бунтующий, в котором есть сила невспаханной, необузданной целины, нерастратенная и пока еще бесполезная, не отданная людям, замкнутая в нем самом.

Шуршала низкой травой степь, слушала Мансурса, узнавала его голос, но не могла ему подпевать, так как по природе своей была слишком молчалива.

Мансур кончил, повесил на гвоздик кобыз и вопросительно посмотрел на Николая.

— А теперь спать, — сказал Николай.

— А ты меня запрешь? — с горечью спросил Мансур.

Николай не знал, что ответить. Видно, у него были соответствующие указания на этот счет.

— Я бы тебя не запираю, но мне очень трудно догонять тебя в степи, — сказал Николай.

— Я не убегу сегодня, — сказал Мансур. — Пожалуй-ста, не запирай меня, Николай-ака.

Николай встал, постоял в нерешительности и вышел, не заперев дверь...

Мальчик подошел к полураскрытой двери, высунулся вслед за Николаем, построил неизвестно кому, а вернее, самому себе гримасу и тоненьким голосом запел: «Бульме! Бульме! Бульме!»

Арест кончился. Он был на свободе. И с ним был кобыз. И Николай простил его. И на худой конец можно было убежать еще раз.

А Николай уже шел ко мне. Он не стал спрашивать, какое впечатление произвела на меня игра Мансура.

Он молчал. Здесь все было ясно...

— А что он все-таки натворил, Мансур? — спросил я.

— Он вылез в окно, — сказал Николай. — Сел на макановского коня и ускакал в степь. На рассвете я кинулся за ним в погоню... Две ночи я гнался за ним. Было бездорожье, машины не шли. Только на коне можно было двигаться по степи. Маканов чуть не заболел. Он слал телеграммы в соседние казахские совхозы: нет ли мальчика? Мальчика нет, отвечали ему. Я доскакал до Байгабула. Там его родина. Там его родная степь.

— А родители? — спросил я.

— Родителей у него нет. Соседи-пастухи слышали, как кто-то скакал около юрт ночью и пел. Но они не знали, шайтан это или человек. Я гнался за ним и спал в седле. Я заставлял себя не спать, но это было очень трудно. Я нагнал его за Байгабулом.

— А чем он питался?

Николай улыбнулся.

— Песнями, — сказал он. — Пастух быстр, как конь, и неприхотлив, как верблюд. А Мансур — сын пастуха.

— А может быть, не стоило гнаться за ним? — спросил я. — Он все равно вернулся бы.

Николай посмотрел на меня удивленно.

— Вернулся бы? Наверное. Он побывал в той степи, где родился, где умер его отец, и, конечно же, он вернулся бы домой... Но мы думали сердцем, а не умом. А тот, кто думает сердцем, не умеет ждать.

Помолчав, он добавил:

— А вы знаете, у степи ведь иногда портится настроение, и тогда степь не выпускает человека.

«Какже судьбы привели этого сына Волги или Оки в степь? — думал я. — Кто научил его казахскому языку? Что сделало его учителем казахского интерната?»

Спрашивать было неудобно, но не спросить я не мог.

— Вы давно здесь, в Казахстане?

— Давно, — сказал он.

— А ваши родители?

— Их нет, — сказал он. — Меня воспитали пастухи. Но это долгая история, а вам уже пора.

Он замолчал. «Так вот оно как, — подумал я. — Значит,

у них с Мансуром общая судьба... И они говорят на одном языке. На языке степи».

— А Мансур — это целина, — еще раз повторил Николай полюбившееся ему сравнение. — Это бунтующая целина. Но урожай будет... не беспокойтесь.

Ветер усилился. Движок, дающий интернату электричество, выключили.

И последнее светившееся в ночи окно Мансура погасло.

— Не убежит? — спросил я Николая.

— Не убежит, — сказал Николай. — Сегодня он не убежит. Обещал.

— А завтра?

— А завтра посмотрим... Не споткнитесь, здесь темно.

Я шел вслед за Николаем и думал об этих погасших окнах и о том, что будет завтра...

И сколько раз Мансур еще огорчит Николая, прежде чем будут первые всходы, сколько раз он заставит Маканова хвататься за сердце!..

— Да, а где же Маканов? — сказал я. — Надо же зайти к нему.

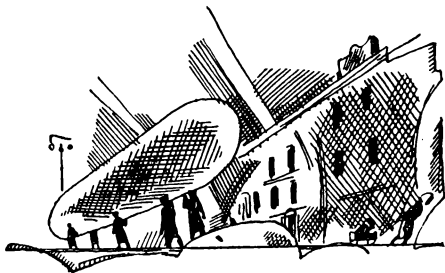
— А вот он, Маканов, он нас ждет.

Ну и глаза у этого Николая!.. Может быть, у всех пастухов такие глаза. В темноте он увидел Маканова, сидящего, поджав ноги, на крыльце, слившегося с ночью...

«Неудобно, — подумал я. — Мы заставили его ждать. Надо извиниться». Мы подошли совсем близко, но Маканов не встал нам навстречу. «Обиделся, — подумал я. — Все-таки с этими восточными людьми не всегда просто».

Но Маканов не обиделся. Он спал. Он спал сидя, и бархатная тибетейка сползла ему на ухо. Он спал, Маканов, и вовсе он не обиделся на нас. Просто с этими юными целинниками еще и не так навокуешься.





ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ ГОРНИСТА

То было первое послевоенное лето. Мы жили в пионерлагере под Москвой. Мы вставали на зорьке, собирали гербарий, ходили в турпоход, и казалось, так было всегда — сосны, синеватый, металлический блеск реки сквозь тальник, тихий звон и пчелиное верещание над высокой и чуть влажной травой; казалось, так было всегда и только что ушедшая война — это лишь сон, который ни вспомнить, ни забыть. Только в родительские дни ее темные крыла осеняли пионерлагерь — почти ко всем приезжали матери и ко многим не приезжали отцы...

Страна жила трудно. Но страна посылала своих пионеров в летние лагеря, кормила их как могла, отдавала им скудные, но живительные свои соки.

А мы вбирали эти соки быстро, радостно и торопливо, потому что это были наши первые пионерские каникулы, первые каникулы после войны. Пробивались сквозь сосны, пахнущие горько и терпковато, прозрачные холодноватые рассветы, и тревожно, пронзительно и победно звучал горн, открывая нам дорогу в день, а потом закаты падали в землю, как кометы, и снова наш горн, уставший за день, пел севшим, но все-таки чистым голосом. А горнистом был мой товарищ, Митька Александров из Ленинграда.

Это был высокий мальчик с глазами серыми, приветливыми, но не улыбочивыми, с чистым бледным лицом, с ясным лбом, с нервной и чуть скорбной линией чуть полноватых губ. Был Митька Александров не очень разговорчив, в походы он не ходил, редко купался, а за обедом ему всегда приносили какую-то другую, чем нам, пищу, называвшуюся туманно и пресно: «высококалорийная». Когда мы резались в футбол, он смотрел на нас с тщательно скрываемой и все-таки уловимой печалью.

Однажды он разделся и кинулся в игру, кинулся с азартом и страстью и повел мяч, прерывисто дыша, каким-то удивительным усилием обогнал защитников, с враз заалевшим и почти багровым лицом вырвался к воротам и пробил несильно и точно, а потом вдруг упал, бесшумно, как перерубленная топором тоненькая жердочка, упал, а мы не поняли, решив, что он просто дурачится. И мы играли и кричали: «Пасуй, пасуй!» — а он лежал в траве.

Кто-то из нас подбежал к нему, испуганно крикнул, и тотчас же все сгруппировалось над ним, подняли его, а один помчался за лагерным врачом. Но он вырвался из наших рук, улыбнулся измученно, виновато и сказал: «Ребята, врача не надо. Мне и так житья не дают. А тут и совсем в комнату загонят». Но его все равно загнали в комнату, и он ходил несколько дней в серой полосатой пижамке и, говорят, совершил несколько попыток к бегству из санчасти.

Вот тогда и мелькнуло это слово, похожее на длинную и безликую рыбу, холодное, непонятное слово: дистрофия.

Но мы не чувствовали к Митьке жалости, мы не могли его жалеть. Он не давал нам жалеть себя. Мы не чувство-

вали себя сильнее его, даже когда он сидел на берегу в своей полосатой пижаме, а мы лихо заплывали за бакеи.

Я не знаю, отчего это происходило—оттого ли, что был он молчалив, но когда говорил, то поражал нас своей памятью и знаниями, оттого ли, что редко врал и хвастал и никогда ничего из себя не выкомаривал, оттого ли, что он был нашим первым горнистом, и горн его не фальшивил и пел не очень сильно, но звонко и чисто, так, что мы зампрали... Горн выводил свою песню, и в ней было что-то тревожившее нас, что-то знакомое по старым фильмам о гражданской войне. Может быть, в этом горне звучали атаки, в которые ходили наши отцы.

— Слушай, где ты научился так горнить? — спросил я однажды Митьку. — Расскажи!

— Наш дом в Ленинграде разрушили. Я ушел жить в свою школу, и я жил в пионерской комнате. А школа была пустая, и я очень боялся, особенно вечерами... Мне хотелось с кем-нибудь разговаривать, а разговаривать было не с кем, там еще жила Нила Павловна, наш завуч, но она после бомбежки стала глухая. Вот я брал горн и трубил. Трубил, трубил, а никто моего горна не слышал. А трубил я назло фашистам... Вот так и научился.

Я любил Митьку, я всегда советовался с ним. Однажды, когда я влюбился в нашу пионервожатую Галину Ивановну, или просто Галю, я пришел к нему посоветоваться. Другим людям я бы не сказал об этом. Это было стыдно, неприятно. Стыдно не оттого, что влюбился. Это делали многие из нас. Но они влюблялись в девочек из соседних отрядов, что было нормально и естественно. Я же влюбился ни больше ни меньше в пионервожатую, во взрослого человека — ученицу девятого класса.

Когда я заикнулся об этом одному своему приятелю, тот дико захохотал, схватился за голову и закричал, корчась от язвительного восторга:

— Во дает! Во дает! Ты бы еще в мою бабушку влюбился! Ей как раз шестьдесят!

— Но Галине Ивановне ведь не шестьдесят, а шестнадцать.

— Дурак ты. Это почти одно и то же. Ты же малолетка против нее.

С тех пор я тихо мучился своей тайной и носил ее в

сердце, как древний юный спартанец лисицу, которая проела ему все внутренности. Недоступная и прекрасная Галля ходила, ничего не зная об этом, и проводила сборы на темы: «Кем быть?», «Сбор гербария в летние каникулы» и «Как проводить пионерский костер». И она не знала, что во мне, чадая и пуская темные клубы дыма, растет и крепнет всепожирающий костер, отнюдь не похожий на пионерский.

И вот я пошел к Мите, сказал ему обо всем этом, мучительно боясь, что он будет смеяться надо мной. Но ничего подобного не произошло.

— Это случается, — знающе сказал он.

— Как же теперь быть, Митя? Может, написать ей записку?

— Она тебя не поймет. Она может даже подумать, что ты припадочный. Не говори ей ничего. Но ты будь всегда первым.

— Как так «будь всегда первым»? — спросил я.

— Ну, я не знаю, как это объяснить. В начале войны мне понравилась одна девочка, — тихо сказал Митя.

— Да-а... — с удивлением и любопытством сказал я. Такое признание с его стороны было жгуче интересным. И потом, Митька никогда не говорил на такие темы.

— Ну и вот, — сказал он и задумался. — Ты понимаешь, я старался всегда быть первым.

— Ну, как это первым? — нетерпеливо спросил я. — В каком смысле первым?

— Ну, не знаю, как тебе это объяснить, — помешкал он. — Ну, я, например, старался себя показать.

Это было странно, не походило на Митьку.

— Ну, как ты это делал? — спросил я, немедленно желая обогатить свой опыт его богатым опытом.

— Когда была бомбежка, я первый выскакивал на крышу и гасил зажигалки... Я хотел быть... ну, героем, что ли. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал я. И подумал, что хорошо ли, плохо ли это для меня, но зажигалки мне тушить не придется.

— Ну, а она что? — спросил я.

— Ну, ей нравилось, — сказал он. — Нравилось, когда я был смелым.

— И она полюбила тебя? — с замиранием спросил я.

— Нет,— сказал он.

— Ты был, может быть, недостаточно первым, недостаточно лучшим для нее?

— Нет, не потому.

— Она была старше тебя?

— Нет.

— А почему же она тебя все-таки не полюбила? — вконец измучившись, сказал я.

Он помедлил.

— Она умерла. Она умерла от голода. Дистрофия.

И опять прозвучало это страшное рыбье слово. Мы оба замолчали. Он сказал, глядя прямо в мои зрачки сильным, немигающим взглядом своих серых взрослых глаз:

— Надо иметь чистое сердце. И быть лучшим, быть первым. И тогда все будет в порядке. Ты понимаешь?

Я молча кивнул головой. «Да, я буду лучшим, я буду первым,— сказал я себе.— Ну, а сердце у меня и так чистое». Я старался быстрее всех бегать и играть лучше других в футбол, плавать дальше всех и ловчее всех разжигать костер.

Но Галя по-прежнему считала меня рядовым пионером во вверенном ей старшем отряде. И я снова пришел к Мите и сказал ему:

— Я лучше многих, я почти что первый. Я забиваю больше всех голов. На викторине я получил приз, но ей папелать на меня...

Наша смена кончалась. Пахло осенью, дни уже шли чуть на убыль, и солнце стало не горячим, а теплым и каким-то ручным.

В один из последних дней у нас готовили торжественную пионерскую линейку. К нам должен был приехать летчик, дважды Герой Советского Союза, совершивший знаменитый таран.

Пожелтевшая газета с описанием его подвига висела в столовой. Мы знали его биографию лучше, чем он сам.

За день до торжественной линейки мы отправились в последний однодневный поход. Митю не взяли. Вечером он зашел ко мне за книгами. Мне иногда посылали из дому книги. Вообще я делился с ним всем, что у меня было, а он всем, что имел,— со мной. А мне как раз прислали Гайдара. Надо сказать, что читал я быстро, и страницы пн-

тересных книг были скоротечны, они таяли, как эскимо. Так и тут. Я еще не открывал книгу и предвкушал, как приду после похода и стану читать. Страницы ее были нетронуты, нематы, они лежали покойно, чисто, как снег в лесу.

Митя скользнул взором по моим книгам и остановился на Гайдаре. Нет, он не просил, он никогда ни о чем не просил. Но я, как хороший товарищ, знающий его страсть к чтению, должен был бы сказать ему: «Читай первый. Бери книгу, мне все равно идти в поход». Но я не сказал этого. Мне стало жаль этих чистых страниц с незагнутыми уголками. Внезапная стариковская бессмысленная скаредность опутала меня, и, вместо того чтобы охотно и щедро предложить другу книгу, я быстрым мелким голосом сказал:

— Ты знаешь, Митя, я возьму Гайдара с собой в поход. Я уже начал и буду там читать.

— Конечно, бери,— сказал он.

И все.

Только когда мы уходили в поход и вожатая во дворе лагеря считала нас и выдавала нам рюкзаки, Митя сидел на бревнышке и поглядывал на меня. Взгляд у него был зоркий, достаточно зоркий, чтобы увидеть, что никакую книгу я не взял с собой. Мне захотелось выйти из строя и крикнуть ему: «Бери же ты эту книгу, конечно же, бери, ерунда какая!» Но я не рванулся, не вышел, не сказал.

Поход был недолог. Мы вернулись поздно, и я так и не увидел Митю.

А на следующий день была торжественная линейка. Летчик уже приехал, но его еще никто не видел в глаза, мы только знали, что он уже здесь, что он уже в лагере, и кто-то пустил слух, что у него один глаз перевязан черной ленточкой, как у адмирала Нельсона.

Пионервожатые, в том числе и Галя, хлопотали у костра, он никак не разжигался, это был настоящий пионерский костер — не из электрических лампочек, а настоящие костры разгораются, как известно, нелегко, долго, но зато уж и горят щедро и горячо.

Наконец костер зашумел, забил, заплескал тяжелой волной огня по веткам, они переломились, перевернулись от этой тяжести и запылали.

Нас поставили в строй, вожатые проплыли по рядам, поправляя на нас галстуки и обдергивая рубашки (как будто летчика интересовали наши рубашки). Какой-то шумок прокатился по рядам, и мы замерли. В сопровождении директора к нам шел летчик.

Темнело, высокий сосновый лес важно колыбался над нами, тянуло ветром с реки, и в багровых отсветах шел летчик, безо всякой повязки, коренастый и молодой, как мальчишка. У него были белые, пшеничные волосы, но в отблесках огня они стали рыжими. У него были спокойные и, должно быть, добрые глаза, но огонь бросил в зрачки свою пляску и движение, свой непокой, и они стали точно бы хмельными, горящими, подвижными. Он шел, чуть припадая на левую ногу, и поэтому шаг его был напряженным и хромота казалась еще заметней. Мы смотрели на него во все глаза, мы впервые видели дважды Героя. И все в нем поражало нас: и то, как он идет, и то, как улыбается и как, позванивая, покачиваются на груди две маленькие звездочки.

И мне захотелось вырваться из строя, подбежать к нему и выкрикнуть ему слова необычайной силы и красоты.

Мне захотелось стать первым, единственным, лучшим. Это желание заняло в моей груди странно и требовательно, пугая меня и приводя в неведомый трепетный восторг. А он шел и вдруг тихо сказал:

— Здравствуйте, ребята!

И Митька в ответ поднес к чуть дрогнувшим губам свой горн.

Все дальнейшее произошло в одно мгновение. Моляще глядя на него, я прошептал:

— Дай мне горн!

Это было не по правилам. Это было нельзя. Он был нашим горнистом, а я только редко подменял его. И он должен был бы отказать мне, послать меня к черту. Но он не сделал этого. Почему? Не знаю. Он протянул мне горн, я схватил его и вдохнул воздух, обжегший мое нутро, и поднес горн к губам. Сейчас он запоет мужественную песню сражения, песню утра революции! Я прижал горячие, лихорадочные губы к стали, и... ржавым, простуженным и неискренним голосом отрывисто крикнула труба и умолкла.

Дважды Герой удивленно посмотрел на меня. «Что это? — думал я. — Почему? Ведь я же играл раньше». Я еще не успел ничего понять, а Митька вырвал у меня горн и запел. Он пел яростно и серебристо, мощно и нежно, торжественно и любовно, вкладывая все свое восхищение этим молодым парнем, летчиком, всю свою безраздельную, мгновенную привязанность к нему в стальное, и чуткое горло трубы.

Пел горн, и мы отдали салют, и моя рука была тяжелой. А костер полыхал чистым и долгим огнем. Летчик улыбался.

— Ты хорошо трубишь, — сказал летчик Митьке. — Когда ты вырастешь, мы возьмем тебя в полк, и ты будешь трубить зорьку.

— А тогда еще будут полки? — спросил Митя.

— Наверное, будут, — сказал летчик.

— А меня вы не возьмете в полк? — прошептал я, уверенный, что летчик меня услышит.

— Посмотрим, — сказал летчик. — Ты должен еще кое-чему научиться. Ты должен научиться трубить, как он.

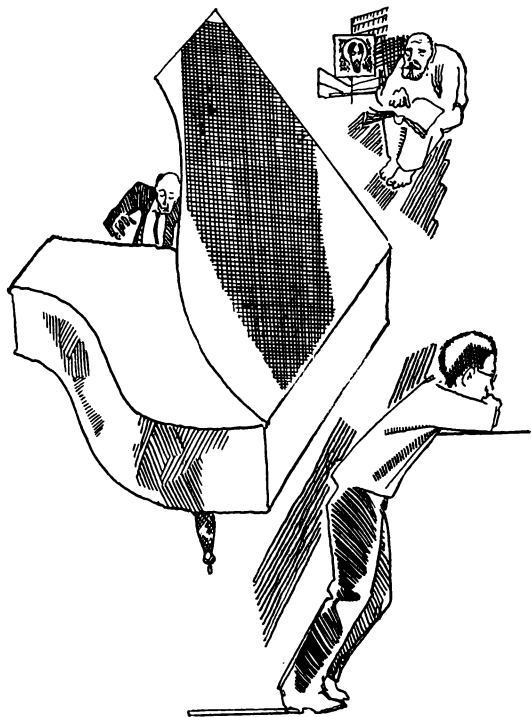
— Нет, он умеет трубить, — тихо, только для меня сказал Митя. — Просто... — Он не договорил, ничего он больше не сказал, но я-то слышал окончание фразы, я знал то, чего он не досказал: «Но у горниста должно быть чистое сердце».

«Слышишь, — сказал я ему мысленно, — слышишь, Митька, поверь, у меня будет чистое сердце! Оно у меня и сейчас почти что чистое, но я знаю, его надо еще чуть-чуть почистить».

А летчик уже шел дальше, другие пионеры отдавали ему салют, и мы все пели песню «Взвейтесь кострами, синие ночи». Он пел с нами, и мы хотели быть такими же героями, как он, а он — стать таким же пионером, как мы. Мы пели, дети, ставшие пионерами в войну, слышавшие не только горн, но и сирену тревоги. А костер все разгорался, он стал совсем огромным, а потом пошел на убыль, ибо и костры и песни имеют конец...

Это было вскоре после войны. Теперь уже другие пионеры, у них новые песни, новые горнисты. И когда они идут строем, и звучит их барабан, и блещут их глаза, я

замираю на мгновение и вслушиваюсь в их легкие шаги. А они идут — им не до глазающих на них прохожих, — стучит барабан, и плывут галстуки, маленькие кусочки большого знамени. Но вот замолкает барабан, и я вижу, как горнист поднимает свой белый и солнечный горн.





П Е Р В А Я БЕССОННИЦА

Я видел его из своей каюты: он стоял у борта, склонившись, положив короткое сильное туловище на перила, и смотрел в воду. Что он там увидел? Уже ничего не было: ни огней порта, ни сухогрузов, стоящих на приколе, ни катеров, порхающих невдалеке от мола, ни китобойного флагмана, неправдоподобно сверкающего в темноте... Он мог видеть только черную воду, черную, как вакса, как сама ночь, черную, беззвездную, глухую воду — и больше ничего.

Но он все стоял и смотрел, уже второй час, неподвижный и выдержанный, как японец.

Я обратил на него внимание еще днем, когда мы только уходили из порта.

Все о ни словно озверели и стучали в барабаны, били в медные тарелки, надували трубы так, что те гремели и чуть не лопались, дудели в неизвестные мне народные инструменты. Теплоход сжался и обалдел от их игры. Он был старый, чиненый, скромный, он стеснялся за этот гам перед другими, гораздо более внушительными, но менее шумными теплоходами, которые тихо и пристойно звучали включенными в треть мощности радиоузлами. Но ребята были молодые, начинающие, им было наплевать на все на свете, потому что они заняли на областном смотре

школьной самостоятельности второе место. Они гремели на все лады: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама...» — и все пассажиры сначала слушали разинув рты и улыбаясь, а потом разбежались по каютам. Наступил перерыв, и их повели обедать, и стало так тихо, что я испугался. Потом они принялись за дело с новыми силами, и к ним подключилась еще группа дремавших до сих пор смычковых инструментов.

Вот тут-то я и обратил на него внимание. Он слонялся по палубе лениво и посторонне, непричастный к их деятельности, как второгодник на экзаменах. Ему было лет пятнадцать. Он был короткий, с непропорционально длинными руками, и я еще обратил внимание на его кисти: у него были юношески широкие кисти, ладони большие, как лопаты, и сильные коренастые пальцы. Мне он не понравился: угрюмый, должно быть, злой, неряшливо одетый. Только очки мне у него понравились: очки были чудные, такие очки носили студенты-революционеры, курсистки, передовые земские врачи конца прошлого века — кругленькие металлические очки, два тоненьких обруча с проволочками-заушниками. А за толстыми стеклами близоручко щурились глаза, маленькие и голубые на большом темном загорелом лице, мерцающие неожиданно странно, как голубые буковки запасного выхода в темном большом зале. Когда школьники пошли обедать, он был вместе с другими, ел истово, бережно и, когда съел яичницу, старательно прошелся корочкой по закопченному дну сковородки. Они поели, их развели по каютам, уже вечерело, и на палубе стало прохладно, и море, о котором все забыли, дало о себе знать резким, неприятным, влажным ветром. Оно стало тускло-темным, всплескивало глухо, невесело, тяжелая безликая темная масса то поднималась к борту, пронзительно и мертво дыша холодом, сыростью, то падала вниз, и луч маяка ломался, обрываясь над зеленовато-черным провалом. Люди тоже переменялись, они уже не бродили по палубам, не смеялись, не курили, бросая окурки в море, любуясь им и поплеывая на него с высоты теплохода... Они сидели по каютам, а палубные примостились на скамейках, всюду стояли корзины с марлевым белым верхом в алых размытых клубничных пятнах (это вилковские колхозники возвращались из Одессы с рынка, с торгов), сладко и терпко пахло клубникой, которой не было.

И только в ресторане стало, наоборот, весело, шумно и светло. Я пошел в каюту, выпил пива, лег.

Заснуть я не мог; в поездах и самолетах я засыпал легко, деловито, по-командировочному, а на море не спалось. В самолете ты окружен людьми, а небо далеко, неслышно, неосвязаемо, за толстыми стеклами, и стюардессы или журнал «Крокодил» отвлекают тебя от неба, поезд же вообще не в счет, в поезде живешь как в гостинице, а на пароходе все время чувствуешь море, выходишь на палубу, и вот оно, рядом, брызги летят тебе в лицо, и ты уже не деловой человек, который думает о цели командировки или ни о чем не думает, ты уже человек в океане, к тебе лезут в голову всякие странные и тревожные мысли о твоей жизни, о той ее части, что уже прожита, о том, что она всегда все-таки хуже, чем могла бы быть, и о той ее таинственной части, что еще предстоит, и о всяких частностях и деталях этого предстоящего. И ты думаешь об этом и оторваться не можешь, будто привязчивый мотив тебе на язык попался, и ты хочешь его забыть, и все наборматываешь тот мотивчик, и все думаешь, думаешь, думаешь, как дурак, а буфет уже закрыт.

И так всегда было со мной на всех ночных палубах, на теплоходах, дизелях и сухогрузных баржах, на катерах и китобойном флагмане «Слава», на «РТ-52», а началось это, когда мне было семнадцать лет и я работал корректором в геленджикской газете, а потом вдруг взял и сбежал и отправился на СЧС — среднем черноморском сейнере «Дельфин» — к берегам Болгарии помощником моториста ловить камбалу, а потом пеламиду и скумбрию. Ловили мы эту самую камбалу, завтракали ею и обедали, уху из нее готовили с чесночным соусом саламуrom. А вечером я вылезал на палубу, садился на сеть, курил «Прибой», и море было вечернее, вот такое, как сейчас, только веселее, легче, светлее, а невдалеке огоньки мигали, и это были уже не русские огоньки, а болгарские. Я долго недвижно сидел на свернутых капроновых сетях и вдруг весь внутренне обмякал и поддавался этой шумной типшине, дрожанию испуганных прожекторов, неровному, отталкивающему и странно влекущему пространству. Я знал, что не буду спать, что всю ночь мои мозги будут, как заведенные, крутиться и мучить меня, что я буду считать до ста и до тысячи, но это ничего не даст, что проклятый за-

вод кончится только на рассвете, когда станет солнечно и спокойно. Тогда я засну блаженно, быстро, глубоко, а через пару часов в мой сон, как крючок в рыбу, вонзится голос капитана-бригадира: «Эй, там, солдатики, подъем!» Так было каждый день, и иногда я вообще не ложился часов до трех, и только когда мозг тускнел, становился спокойно-равнодушным к воде, к ночному небу, к шуму, я шел в кубрик.

Однажды ко мне подошел радист и посмотрел на меня сочувственно и удивленно.

— Бессонница?.. А может, ты чего сочиняешь?

— Да нет,— сказал я.— Я не умею. Хотелось бы.

— А тут один с нами ходил, так он сочинял. Садится на сети и сочиняет. Он быстро сочинял, не то что ты. Посидит минут пятнадцать и сочинит. Веселый он был, простой. Очень уху уважал.

— Да я ведь не сочиняю. Я просто так.

— Просто так не бывает. Может, ты по пацанке считаешь?

— Да у меня нет ее.

— Вот от этого и не спишь.

— Это все ерунда.

— Ладно, ерунда. Вот придем на базу — надо будет тебе пацанку найти. Там приемщицы очень культурные.

— Да ладно, обойдется.

— Ну, как знаешь.

Потом мы шли в его крохотную рубку, где он работал и спал на узенькой подростковой кровати, слушали последние известия на разных языках, музыку. Радист давал мне немножко спирта, и я веселел и переключал диапазоны приемника, и что-то грохотало, хрипело, кто-то пел низким печальным голосом, страдая, но не всерьез. Радист рассказывал мне, какой у него сын, мой погодок, Терентий, какой спортсмен — мастер спорта по прыжкам в воду, и, слава тебе господи, ни грамма не потребляет и возле кино не толчется, билетами не промышляет со шпаной. Никаких этих самых завихрений, а все то, что полагается...

И, вспоминая сына, он грустнел, а я, наоборот, все веселел и хмелел, не от спирта, а от музыки, от тепла крошечной каюты, от любви к пожилому радисту, к его севшему грубому голосу и к желтым маленьким усталым глазам, к его узким, высохшим, как лодки-долбленки, ру-

кам, хмелел от любви ко всем радистам на всех средних сейнерах Черноморского флота и ко всем вообще людям, кроме фашистов и неофашистов и тех, кто линчует негров, и тех, кто притесняет некоторых белых.

— «Сиреневый туман над морем тихо тает,— вполголо-са пел я.— Над городом горит вечерняя звезда...»

— А ты, брат, косой.

— Да я не косой, я прямой, как мачта.

И я выходил на палубу. И опять море было рядом. Вот оно: плюет, пылит соленой пылью, тяжело и гулко прыгает и перехлестывает через борт, живет, и дышит, и стонет, и нет все же в нем ничего человеческого, оно слепо, бессмысленно, жестоко, но я уже не боюсь его, как раньше. Мне весело, хорошо, и если я сегодня не засну, то от радости, а когда на рассвете буду мыться, я надевать синие выцветшие штаны и робу, и хлебать чай из большой кислой кружки, то буду вспоминать: что же это за радость была вчера вечером?..

Теплоход наш совсем почти уснул, буфетчица сонно двигалась по длинному, медно-красному от пригашенного света коридорчику. Какая-то палубная пара, пробравшаяся в теплый коридор, испугнуто замерла, словно в цирке живые скульптуры.

И стало тихо, только стакан для питьевой воды, укрепленный на железной скобке, дзинькал, как трамвайный звонок.

Я зажег свет в каюте, стал аккуратно развешивать свой мятый пиджачок на пластмассовой вешалке (почему-то дома пиджак бросаешь куда придется, а в гостинице, пароходе, самолете развешиваешь, да еще чистишь специальной щеткой).

И вот тут-то, когда я встал и подошел к шкафчику, чтобы повесить пиджак, я увидел этого парня. Он стоял наискосок от моего окна, опустив свою большую, стриженную под Котовского, буграстую голову на фальшборт, стоял так, будто его травило, или как если бы он вытягивал из воды леску, или словно что-то уронил он и всматривается, хочет это разглядеть в темноте. Все его дружки из самодеятельности давно спали, а он, видно, тоже лег, но проснулся и сбежал сюда, на палубу. Я физически ощутил, как ему холодно, сыро, одиноко, как ему жаль себя, потому что людям, в одиночестве стоящим на палубе и

глядящим в море в то время, как все другие спят, бывает необычайно жаль себя.

Мне этот парень не нравился, но мне не хотелось, чтобы он там торчал один. Я снял пиджак с широченной, прямой, как распятие, вешалки и вышел на палубу.

Когда я подошел к нему, он не шелохнулся.

— Чего ты там увидел? — спросил я.

Он быстро и досадливо повернулся, сверкнув своими тонкими социал-демократическими очками, с таким видом, будто я оторвал его от обдумывания шахматного хода.

— Ну так что же ты там увидел?

Он только чуть переменил позу и скосил на меня маленький, светлый, блестящий в сумраке глаз.

— Дайте закурить, — сказал он тоненьким голосом, неожиданным при его дубоватой квадратной внешности.

Мне очень хотелось дать ему закурить, но я недавно слушал по радио беседу для родителей, и я сказал:

— Не могу.

Он отвернулся от меня, окончательно потеряв ко мне всякий интерес.

— Слушай, — сказал я. — Если тебе почему-либо неохота ночевать со своими, приходи в мою каюту: она двухместная, а я один. А здесь тебя продует, и ты будешь завтра больной и сопливый.

Тут он чуть оживился и, ухмыльнувшись, буркнул:

— Спасибо.

— Прости меня за назойливость. Но, понимаешь, я и сам люблю глазеть на ночное море... Поэтому ты скажи: может, ты чего там увидел? У тебя очки вон какие! Может, там чего есть?

— Там огни, — помедлив, сказал он.

Я посмотрел: никаких огней не было, было всюду темно, так что глаза утыкались в эту черноту и слепли. Только буй светились и гудели. И маяк быстро полз по темным круглым взгребьям.

«Ну ладно, огни так огни, — подумал я. — А я пошел».

— Если замерзнешь, стучись в мою каюту.

У меня были свои, другие дела. Я стал думать о них. А этот парень... Ну что ж, пусть стоит. Я тоже стоял так когда-то. И ничего, выстоял...

Я лег не раздеваясь. Мне хотелось, чтобы ночь прошла быстрее: я любил морской рассвет, быстрый, неожиданный

и багровый: мне всегда бывало веселее, когда вода отстала и светлела после ночи и становилась сначала молочной, потом голубой и, наконец, по-дневному зеленой. В этот момент перед рассветом я всегда засыпал, засыпал мгновенно, отрываясь от странного, шуршащего, как бумага на ветру, мира ночных мыслей, будоражных, удивительных, горьких, не похожих на дневные, отрываясь от ночного одиночества, переносясь в утро, в тепло, в день...

Этот час еще не настал. Серое, неопределенное, как дремота, море окружало и качало меня...

Потом я услышал чьи-то шаги, короткий стук в дверь.

Я зажег свет. Он вошел, жмурясь, весь какой-то похуевший, усталый, словно после ночной вахты. Я удивился его приходу, но не выдал своего удивления.

— И охота тебе мучить себя? Лег бы сразу, так нет, прирос к борту.

Мне приятно и непривычно было ворчать на него. Я чувствовал себя рядом с ним очень взрослым, почти старым, спокойным и неспособным к дурацкой тревоге, к детской печали. Мы выпили с ним пива, потом он разулся, снял свои здоровенные квадратные башмаки, широченные брюки, пиджак и лег.

— Если замерзнешь, возьми мой плащ,— сказал я.

— Мне не холодно. Я на Кудиновом острове вообще без одеяла сплю.

— Где?

— На Кудиновом острове. Это дельта Дуная.

Мне показалось, что что-то в нем переменилось за эти часы. Видно, он измучился, истомился и стал как-то мягче, покладистее, нормальнее, что ли. Я слышал, как он ворочался и вздыхал громко, шумно, как лошадь. Знаете, как лошади вздыхают — натужливо и протяжно.

— Вы спите? — вдруг спросил он негромко.

— Нет.

— И я не сплю.

— А что ты делаешь?

— Думаю.

— О чем?

— Так, вообще.

— Ну, вообще — это не страшно.

— Тут такое запутанное дело, что не поймешь да и не разберешься. Туманность одна.

— Туманность Андромеды.

— Да нет... Вообще туманность получилась.

Я чувствовал, что ему хочется рассказать, что ему больше невольно мучиться молчанием, что слова пересохла в нем, слишком долго они лежали в его мозгу, и теперь, когда он начал говорить после долгого молчания, голос у него был надтреснутый, словно бы разошедшийся.

— Если рассказывать, так целого вечера не хватит, а может, еще и другой вечер захватить придется. Если все описывать по порядку, так всю жизнь надо описать.

— Ну и опиши.

— А вам интересно?

— Да.

— Ну ладно. От молчанки больше устанешь, чем от разговора...

Сам я с сорок девятого года. Дед рыбак. Живем мы в деревне Кудинов остров. Отец рыбак. Отец помер в пятьдесят четвертом. С другом в камышах охотился, утку стрелял, и друг его подстрелил по нечаянности. Повезли его на лодке в район, а он и помер, не доезжая. Мать после такого дела что-то не в себе стала, все хворала да и по сей день хворает, вся желтая, как сухой камыш. Тогда дед меня взял, Мефодий Мокеич. Взял меня, а в школу не пускал. И говорил, что отец пострадал за божий грех, за то, что в коммунисты пошел и от веры отказался. А дед у меня, надо сказать, очень чудной старик, старообрядец, упорный такой. В школу два года он меня не пускал, в церковь водил, с дьяковым сыном дружить заставлял. Наконец из сельсовета пришли к деду и говорят: «Если ты не угомонишься, отберем от тебя внука, да и сам под суд пойдешь».

Тогда дед увозить меня стал в Измаил к старшему своему брату, а тот еще чуднее его, мало что старовер, но еще и сектант, фанатик. Двух жен со свету сжил. Такой мужик, что лучше от него подальше. Стал дед меня увозить на мотофелюге. Притом человека ко мне приставил, а сам фелюгу ведет. А человек тот выпимши был, ну я его и сделал. И притом очень просто: из кубрика — я на корму, оттуда в воду: ночь, темно, пока дед очухался, я уже у берега был. А у нас граница с Румынией. Пограничники меня забрали, расспрашивают, а я молчу. Была тут целая волокита, потом из школы пришли, разобрались. И стал я

после того побега вроде как чокнутый. Ходил все в камыши, на Дунай, иной раз к Прорве на лодке подплавывал... А там море. Возле этого моря я и стоял часами, рыбаки на меня внимания не обращали. Чокнутый, мол, пусть стоит. А я стою, стою, думаю, и что-то во мне закипает, и хочется мне чего-то, и волнение меня бьет, наподобие дрожи, а потом я устаю после всего этого, как после тяжелой работы, аж желудок болит. В общем, такая ерунда со мной творилась, что и вроде по-серьезному чокнулся. Потом я пошел в школу, учился там с малолетками. И тут в школу нашу привезли пианино. Стал я на этом пианино стучать по костям. Стучал, стучал наподобие чижики. А слух у меня был ничего. Говорят, даже очень. С детства я пел песни церковные да и мирские пел.

Так вот стучу я на этом пианино, ноты себе покупаю в районе, самоучитель. Дед об этом деле знает, но ничего, помалкивает... Вообще после той истории его предупредили малость, так он затих. Да и старый он стал, утомился, рыбалить перестал, все сидит и подсчитывает, сколько ему надо на похороны, чтобы не краснеть перед людьми. Это мне чтобы не краснеть... Чудной он старик был, интересный.

Так насчет пианино он ничего, молчок. Но раз поиграл я на вечере — он принялся меня стыдить, срамить.

Я теперь уж не тот стал, что раньше, не такой покорный, я ему:

«Если вы, дедушка, ко мне приставать будете, уйду я от вас. Откажусь я от вас на всю свою жизнь».

А он то угрозой, то жалостью. Плачет, уговаривает:

«Не позорься,— говорит.— Греховным делом не занимайся, людям себя не показывай».

Ну и ушел я от него. И жалко мне его, и тошно с ним. Ушел я и занялся этой самой музыкой на полную катушку. Дни и ночи играю, с уроков сбег, сижу все время в красном уголке. Ну, учителя меня корят за математику, за русский язык, а за музыку говорят хорошо... Потом приехал какой-то учитель, музыкант, смотрел меня, потом ездил я на смотр — грамоту получил. Потом еще одну. Специалисты смотрели — говорят, способность есть, а школы нет... Самоучка. А где мне эту самую школу взять?

А играл я всласть. Часов по восемь в день. Уж и школу закроют, и пустота повсюду, и в клубе танцы конча-

ются, на станции в одиннадцать часов движок выключают, а я сижу играю. Ну и мечтаю: уеду отсюда в большой город, в консерваторию поступлю, ну и всякое такое... Честолюбие всякое, одним словом... Ладно. Так я и жил. А потом дедушка мой неуживчивый, Мефодий Мокеич, помер. Пришли тут его кумовья, поют, кричат, а на меня волками смотрят.

А один старик, с рожей такой черной, как зола, ко мне подходит и шипит мне на ухо:

«Через музыку твою дед помер. Музыкой своей публичной и комсомолом деда ты опоганил и в могилу свел раньше, чем богом положено».

Я стою молчу. Неудобно мне старца трогать... А то б я ему сунул раз по роже. И так мне досадно стало на эту ораву, что вокруг моего деда-покойника увивалась, что плюнул я на них и ушел. Ушел я к реке, к Дунаю. И плакал... Может, первый, может, последний раз.

Жалел я деда, темноту его, ярость его я жалел, и жизнь его я жалел, потому что был он человек умелый, а музыки никакой не знал, разве что псалмы, где ни складу, ни ладу, одна мистика. И еще я жалел свое детство, и то, как я с ним ходил рыбалить, и как он учил меня венгера ставить, и лодку дубить, и жалел, что огорчал его через безбожие свое да через музыку, но что поделаешь, если уж я знаю, что нет никакого создателя, а есть одна лишь материя и Чарлз Дарвин! А без музыки я, может, и впрямь стал бы чокнутый, я знаю таких, на базаре ходят, народ смешат в воскресный день...

А через неделю поехали мы в Одессу на большой областной смотр. Поехала наша районная самодеятельность, и меня взяли. Ехал я смурной, тихий. Приехали в город, все на экскурсию пошли, а я остался, сижу в гостинице, смотрю в окно. Я экскурсий, честно говоря, не люблю, а люблю сам... Так и просидел вечер, а на следующий день репетиция. Там, в гостинице, был зал, где фортепьяно стояло, там еще наши флейтисты и кларнетисты занимались. Ну, играли мы себе, играли, вдруг кто-то отворил стеклянную дверь и вошел. Маленький такой, с рыжими волосами, а лицо у него бледное, будто он мелом измазался. Открыл и поморщился:

«Ну п гвалт! Да тут же, право, жить невозможно».

Наши кларнетисты примолкли, а начальство ему объ-

ясняет насчет самодеятельности и все такое. А я играю. А он вдруг уставился и слушает. Не начальство, а меня слушает. Слушает и улыбается. А улыбка у него вроде как издевательская. Лицо такое белое, сам маленький, одет во все узенькое, будто с младшего брата. Ну, мне наплевать на него, я себе играю. А играл я вальс до-диез минор Шопена. Завтра мне его исполнять.

Вечером я гулял по городу. О впечатлениях говорить не буду. Сами понимаете. Да. Так вот, возвращаюсь я в гостиницу, а в фойе — он. В черном костюме, как официант какой-нибудь. Подходит ко мне, говорит:

«Как жизнь?»

Я ему:

«Двадцать пять».

Это я в школе научился. При деде я таких штук не знал, потом поднахватался.

А он мне:

«Двадцать пять так двадцать пять. Лишь бы не тринадцать. Хочешь ко мне в номер зайти? Чаю выпьем, поговорим».

«Чего я у вас в номере забыл?»

А он говорит:

«А ты, брат, какой-то дикий. Будто с цепи сорвался». Я молчу.

«А может, ты мне сыграешь?» — говорит.

«Охота была».

«Ну ладно, тогда я тебе сыграю».

Хотел я его послать туда-сюда, так как полагал, что он выпимши, но нет, пошел я за ним в номер, а в номере у него в углу — рояль. Как он первый аккорд взял, я весь замер. Тут-то я и понял, в чем дело. А когда он кончил, так я и слова не мог вымолвить. По радио я такой игры не слышал. И все по-другому, чем я, совершенно по-другому. Весь смысл у него был другой. А о звуке я уж не говорю. Звук у него был мощный, как гром. Мощный и чистый, что и не поймешь, откуда он рождается и как он держится в воздухе.

А руки... В два раза меньше моих, но насколько сильнее, насколько сильнее! Посмотрел я на свои грабки и думаю: надо, брат, не в консерваторию идти, а булыжники таскать.

Кончил он играть и говорит:

«Я тебя вчера слушал, слух у тебя отличный, инструмент ты чувствуешь, но, конечно, все это, брат, пока так... Сыровато. Здесь серединкой-половинкой не обойдешься. Если хочешь всерьез заниматься, бросай все, уезжай из своей деревни, поступай в училище».

Хотел я у него спросить адрес, да и сам он вроде предлагал, чего-то он мне объяснял, но я вроде бы пьяный был, только об игре думал и слышал ее, и адреса не взял и ушел от него.

А наутро заключительный день смотра. Ребята идут хорошо, среди первых. Вот и моя очередь. Называют мою фамилию, то да се, из рыбацкой семьи, талант-самоучка, пятое-десятое. Я выхожу, сажусь, руки у меня горят, а внутри холодок: ну, думаю, прости господи, сейчас я дам, как никогда в жизни. Помню я, как вчера он играл, все помню, каждую ноту, каждое звучание и так же начинаю. Так же начинаю, как и он, точно так же... А играть не могу. Помню, как он играл, а не могу. Не могу по его играть. Тогда начинаю играть, как до него. Как раньше. Как на репетициях. И слушаю себя и не верю: так это грубо, жестко... И стало мне противно. Тут уж я себя и не помню. Только помню, что встал, закрыл крышку. Да, крышку закрыл и стою... А в зале шум, движение, никто ничего не поймет. А я вроде иду по сцене и почему-то не внутрь за кулисы, а прямо в зал.

Кто-то говорит:

«Может, он заболел?»

Руководитель наш Кофанов подходит ко мне, говорит: «Что с тобой? Ты же вчера отлично играл!..»

Я молчу. Еще ко мне подходят разные. Все такие участливые. Один говорит:

«Это он впечатлительный, нервный».

Другой:

«У него дедушка умер недавно».

А кто-то из наших ребят шепчет другому про меня: «Чокнутый».

Тем все оно и кончилось. Целый вечер бродил я по Одессе, бродил, и сидел на набережной, и все думал, думал: а как же дальше? И сначала очень мне плохо было. Очень плохо. А потом отчего-то стало хорошо, и я подумал: ну, не буду я играть — музыка-то не исчезнет. Послушать ее я всегда смогу. Пришел я тогда поздно в го-

стиницу и не пошел туда, где наши жили, в общежитие, а прямо на третий этаж, в номер «Люкс» к рыжему.

Пришел, а дверь у него заперта, и горничная говорит:

«Уехал товарищ в город Москву выступать и давать концерты».

А потом кончился этот самый конкурс, нас всех погрузили, и мы поехали...

Он кончил свой рассказ, посмотрел на меня устало, опустошенно. Странная у него была физиономия: большая, грубая, темная, а глаза маленькие, очень яркие и тревожные.

— Ну и что ты решил? — спросил я. — Играть будешь?

— Не знаю, — сказал он.

Я хотел ему посоветовать работать над собой, никогда не отказываться от начатого дела, но не стал... Еще я хотел ему посоветовать, чтобы он влюбился в пацанку, но потом решил, что это лекарство принимать ему еще рано, а кроме того, оно обладает иногда самым неожиданным действием. Что я мог сказать ему?..

— Спи. Самое лучшее сейчас — это спать.

— У меня бессонница, — сказал он.

— Ну тогда подумай о чем-нибудь хорошем. У тебя есть что-нибудь хорошее?

Он задумался, потом кивнул:

— Есть.

Мне хотелось узнать, что это, но я не спросил, потому что у каждого человека есть свое хорошее и не обязательно рассказывать об этом другим.

— Ну тогда все в порядке.

И я закрыл глаза. Приятная светлая тяжесть начинающегося сна легла на мои плечи. Наступал тот момент, когда мне положено было засыпать... Через два часа капитан-бригадир разбудит меня на утренний лов.

Я проснулся от сильного и долгого гудка. Теплоход вошел в дельту Дуная. Он подходил к пристани Вилково.

Я посмотрел: вторая койка была пуста. Я отдернул шторы — его не было видно. Возможно, он уже приготовился сойти и ждал трапа, а может, еще бродил по палубам, праздновал свою первую бессонницу и видел странные, далекие, ночные огни, которые не разглядишь простым глазом.





СУЛТАН-САНДЖАР

Профессор

По дороге из Байрам-Али профессор решил свернуть к Султан-Санджару. Он давно собирался посмотреть, что же происходит с Султан-Санджаром, но все откладывал это... Ему рассказывали, что реставраторы работают медленно и небрежно, что они отстраивают памятник заново, что они всаживают в древние, сожженные солнечными ветрами плитки новехонький непрочный кирпич, что они придерживаются пропорций, именно придерживаются, а не соблюдают строжайшие и тончайшие пропорции архитектора Мухаммеда.

Профессор слушал; его румяное большое лицо бледнело, голубые глаза становились бесцветными, узкими, и он ругался яростно, затейливо, ни в чем не уступая по словарному запасу своему шоферу Мите.

Человек необычайно, подчас даже до утомительности, тщательный, он остро ненавидел халтурщиков всех мастей и ремесел и яростно преследовал их, отнимая у них последний кусок хлеба.

А сейчас его ярость удесятирилась тем, что сюда, на землю древнего Мерва, выезжали индийские историки и

археологи. Они собирались пересечь тысячи и тысячи километров, чтобы посмотреть знаменитый мавзолей Султан-Санджара. Профессор знал, что индусы помнят свою старину и свято берегут свои памятники.

Он все откладывал эту поездку, а сегодня наконец решил и поехал. Он устал, у него болела голова, которая в последнее время стала вдруг не выдерживать солнца. Он носил на раскопках тропический американский шлем и зонтик, и все-таки вечерами голова начинала кружиться, странно, как бы приглушенно, болела. Песок неожиданно то темнел, то светлел перед ним, будто он все время надевал и снимал темные очки.

Ему было семьдесят лет.

Они (ученики, сотрудники, рабочие, аспиранты, обслуживающий персонал) знали, что ему семьдесят лет. Знали, но не понимали этого.

Потому что он раньше всех в экспедиции вставал. Потому что он сидел за рабочим столом по восемь-девять часов и не выказывал никакого интереса к отдыху и пище.

Потому что по всем важным и противоречивым вопросам (в том числе бытовым и хозяйственным) в конце концов они вынуждены были обращаться к нему. Потому что из них всех — молодых, современных и хватких — он один умел договориться с местными властями и вытребовать для своей экспедиции все, что было возможно (главным образом транспорт и помещения).

И они не знали, что он не встает раньше всех, а просто не спит, что он сидит, не вставая, за письменным столом только потому, что любой перерыв может на целый день вывести его из рабочего состояния, — старый мотор нельзя глушить не вовремя, потом он должен слишком долго разогреваться. Они не знали, что его ставшая легендарной придирчивая и даже мелочная точность стоила ему чудовищных усилий, ибо в сущности своей он был человеком порывистым и даже кое в чем разбросанным. (Но эту разбросанность и порывистость он укрощал в себе, как опытный дрессировщик, с юности — много лет каждый день, и вот сейчас эти трудные зверьки утихли, сдались, привыкли к высшей хозяйской воле и уже не мешают ему.) Они не знали, что разговоры с хозяйственниками и прочими начальниками дались ему не сразу, так же как

и обходительность, и шутки, и умение увлечь практичных и суховатых людей какими-то фантастическими и далекими от насущных задач интересами, обращенными сугубо к прошлому — к черепкам, старым, никому не нужным развалинам, к полусгнившим скелетам вымерших, древних, никому не нужных лошадей, к ржавым, безобразным амфорам, ко всяким мешающим нормальному автомобильному движению в пустыне полусгнившим камням, торчащим черт те где...

Они не знали, что ни шлем, ни зонтик не могут спасти белую большую голову от странной то вспыхивающей, то гаснущей головной боли. Что эта голова каждый раз впитывает все большую, все нарастающую дозу усталости, оседавшую в мозг, как пыль, каждый день, каждый месяц.

Они не понимали, что ему семьдесят (не шестьдесят пять, даже не шестьдесят восемь — семь-де-сят лет).

Может быть, они были слепы, эгоистичны, не берегли его? Нет, они заботились о нем, пытались создать ему лучшие, чем другим, условия, даже в поле готовили ему специальную, отдельную от всех еду (которую он почти никогда не ел, так как питался из общего котла). Они спорили с ним, но всегда прислушивались к нему, обижались, злились, иногда просто изнемогали от его пунктуальности, от его постоянного, почти назойливого внимания к каждому их шагу, но любили, как никого другого. Одно только не понимали: что ему семьдесят лет. А как это было понять, если он целый день не уходил с раскопок, а вечерами вел свои записи, без конца продолжал работу по парфянским ритонам (получившую известность во многих странах), писал длинные письма крупнейшим археологам мира, ловил каждую мельчайшую ошибку в работах своих студентов, и целовал ручки женщинам, и поглядывал на них маленькими, блестящими от интереса глазами... Вот и пойми тут, сколько ему лет!

Экспедиция разместилась в конюшне. Это было очень длинное, узкое помещение, оставшееся в наследство от колхоза имени Буденного, слившегося с другим, соседним. Там жили они все: в одном крыле конюшни мужчины, в другом — женщины, а посредине, в маленькой комнатке, похожей на землянку, — профессор. У входа в конюшню на красном плакате профессор велел повесить латин-

ское изречение: «Ступай вперед — и будешь становиться лучше».

Вот они и ступали вперед от экспедиции к экспедиции, от Эр-Кали к Гяур-Кале, от Мерва к Нисе. От палаток к старому сараю или конюшне, от поверхности к глубине, от черепков к государству, от картины вечного, ушедшего к недавнему, от недавнего к сегодняшнему. Они шли вперед, его ученики и товарищи, шли вместе с ним, и взрослели, и писали исследования, и получали степени: от аспирантов к кандидатам, от кандидатов к докторам... Вперед и вперед.

А он уже имел все степени, какие есть, но тоже шел вперед и становился лучше... и старше. «Ступай вперед — и будешь становиться лучше».

А что впереди?

Машина шла к мавзолею.

Пустыня по-вечернему тускнела, потеряла живой, теплый цвет и стала гипсовомертвой. Профессор не смотрел по сторонам: ему давно набил оскомину этот лысый пейзаж.

Он знал, что пустыню любят только туристы, а те, кто здесь живет, не любят ее — они только сосуществуют с ней.

Он все время зевал, не оттого, что хотел спать, а от головной боли, спазматически.

— Ко сну клонит? — спросил шофер Митя. — Ничего, завтра воскресенье, отоспитесь. Или опять лекцию будете читать?

По воскресеньям в нерабочее время он читал лекции для учащихся соседних школ.

— Завтра не буду читать, — сказал профессор. — А насчет отоспаться — это вряд ли...

— Это что ж получается, — сказал Митя, — какой же интерес без выходных работать? Человек и выпить должен, и в кино сходить, и с женой погулять.

— Должен, Митя... Только вот, когда работа не задается, сидишь ты в кино, ленту смотришь, а сам о своей работе думаешь. И никакого удовольствия.

Митя покачал головой.

— Это у вас-то не задается?.. Это сейчас?

— Да нет... всю жизнь. Это уже наука такая или, может, я такой. Что-нибудь да не задается.

— Чудно́ получается,— сказал Митя и повернул машину.

— А насчет выпить — это я всегда пожалуйста. Был бы коньячок.

— Найдём,— улыбнулся Митя.— В крайнем случае в Мары слетаем.

Он посмотрел на профессора в узкое зеркальце. Митя меньше других соприкасался с профессором на работе, когда профессор был подтянут, быстр, повелителен. И чаще других наблюдал его усталым, долго, судорожно зевающим, раскинувшим большое, рыхлеющее тело на заднем сиденье.

Сейчас профессор сидел закрыв глаза.

— Может, окошко открыть? — сказал Митя.

— Не надо... Там пыль,— не открывая глаз, сказал профессор. Сегодня ему было хуже, чем обычно.

— Вон Султан показался,— сказал Митя.

Профессор открыл глаза. В слегка гребнистом от ям и все-таки бесконечно плоском пространстве тихо, тускло мерцал седоватый купол, похожий издали на огромную каску. Профессор ожил, попросил остановить машину и пошел к мавзолею. Он шел довольно быстро, сильно размахивая руками. Он забыл про головную боль, про головокружение и зло нацелился обострившимися глазами на мавзолей, ища плохо пригнанные швы, оттенки чужеродного материала, торопливые следы ненавистных ему ашхабадских халтурщиков. Мавзолей все вырастал навстречу профессору, и вершина его переставала быть мрачной каской, а становилась постепенно грандиозным куполом, мощно и мягко прорисованным в высоком темнеющем азиатском небе. И вдруг, уже совсем близко от мавзолея, профессор резко застопорил свой быстрый и гневный шаг.

Он удивленно поднял голову и застыл.

Там, над самым куполом, на огромной высоте, крошечная, как шахматная пешка, тревожно и странно маячила человеческая фигура.

«Что за чертовщина! — подумал профессор.— Нет, я совсем расклеился».

Он снял темные очки и еще раз, уже спокойно и пристально, посмотрел вверх. Фигурка не исчезала. Он позвал Митю и крикнул, показав рукой на купол:

- Видишь?!
- Вижу,— сказал Митя.
- Чертовщина какая-то.
- Почему чертовщина? — рассудительно проговорил Митя. — Обыкновенный человек. Мальчик.

Мальчик

Мальчика звали Халматов Каля. Был он высокий, тонкий в кости, темный лицом почти по-негритянски. По национальности он был узбек, хотя числился в документах туркменом.

Родители его погубили в землетрясение. Среди прочих осиротевших детей его отдали в детский дом для малолетних, и уж какая там национальность — многие из них и фамилию свою не знали. Только потом стало ясно, что он не туркмен — такие лица у гузов не бывают, такие раскосые, с глазами узкими, длинными, отставленными друг от друга далеко.

Халматов Каля был парень тихий, что называется некомпанейский. Был он уступчив, дружелюбен, не больно общителен. В баскетбол он не играл, на спортплощадке появлялся редко. И часто после уроков исчезал куда-то на много часов и появлялся только вечером. Его спрашивали:

— Где был?

Он отвечал вяло:

— К Султан-Санджару ходил.

— Чего там делал?

— Да так... Гулял просто.

Ребята ухмылялись. Никого из них особенно не интересовала эта огромная историческая развалина. Все они были там по разу в порядке обязательной экскурсии, и никому в голову не приходило таскаться туда по собственной воле в драгоценное внеурочное время.

Вот и сегодня к вечеру он отправился в район раскопок. Он шел пешком километров шесть, пока не добрался до ворот старого Мерва. Археологи уже не работали. Изрытая пепельная земля наливалась быстрым и непрочным румянцем вечеряющего солнца. Мальчику стало грустно

оттого, что археологов нет. Кто его знает, зачем он ходил сюда! Может, из-за них и ходил. Они уже не удивлялись ему и поручали ему всякие мелкие работы. Иногда он копал вместе с рабочими, иногда таскал из лагеря воду в легких алюминиевых ведрах, а однажды его допустили в конюшню, и он присутствовал при обработке материала. Археологи как бы его и не замечали. Разговаривали с ним мало, а все же привыкли к нему и уже обращали внимание на его отсутствие. Они сажали его с собой есть, и это была какая-то радостная еда, гораздо более радостная, чем в детдоме (хотя кормили в детдоме и калорийнее, и сытнее). Он с наслаждением слушал их разговоры о людях и предметах, ему вовсе не знакомых, их шутки и прозвища, и многочисленные розыгрыши, и даже иногда резкие и грубые на вид перебранки, которые быстро и беззлобно затухали. Каля знал, что такое злость, и боялся злости, и ему нравились эти незлые, говорливые и работающие люди.

Но особенно ему нравился профессор. Он был прямо-таки поражен, когда впервые увидел профессора. Профессор медленно шел по земле древнего Мерва, американский тропический шлем грозно облегал его крупную голову, белый, прекрасно отутюженный костюм сверкал на солнце. Профессор энергично помахивал над своей головой зонтиком на тонкой гнутой трости, что-то быстро и громко говорил, и мальчик со странным изумлением слушал эту речь, этот сильный баритон, слова, произносимые свободно и властно, чуть округленные легкой картавостью.

Мальчика, правда, удивило, что этот человек потом сел на корточки и долго копался в земле и что-то говорил другому, молодому человеку, а тот с мел спорить с ним. Мальчик с неприязнью посмотрел на спорщика, но потом он увидел, что профессор не обиделся, и успокоился. Его удивило, что профессор обедал вместе со всеми, прямо в поле, так же, как все остальные, пил, обжигаясь, зеленый чай и ел постную каурму, вяленое баранье мясо. Профессор заметил мальчика, пристально на него глядящего, и мимоходом спросил его:

— Ты что, рабочий?

Каля замялся, не знал, как ответить.

— Да нет, он сочувствующий, — сказал кто-то из археологов. — Детдомовский, из Байрам-Али.

Мальчик думал, что профессор прогонит его: археологи не любили, когда рядом торчали и глазели на работу посторонние, но профессор промолчал.

Вновь мальчик увидел профессора в воскресенье, в музее (в конюшне), где были собраны различные черепки, и ведра, и какие-то кости, и надгильные камни, и еще всякие вещи. В тот день профессор читал лекцию для молодежи о прошлом этого края. Профессор говорил о различных племенах, здесь живших, о том, что все эти черепушки помогают нам воссоздать картину древнего общества и его культуры и что это нужно не просто так, для баловства или для чистой науки, а вроде бы и для сегодняшней жизни, чтобы человек представлял себе историю и, постигая прошлое, двигался к будущему. Профессор много еще говорил о древних гузах, то есть туркменах, какие у них были привычки, обряды и нравы, и про их строй, и про их семьи, и даже про вино, которое они пили. И мальчику почему-то стало очень жаль, что они так бедно и плохо жили, и ни в чем толком не смыслили, и верили каким-то дурацким богам, и спали в каких-то домах без окон, похуже нынешних времянок, не то что без газа, а даже и без керосина. И еще ему было жаль их потому, что вот они копошились и копошились и с кем-то тягали права да спорили и воевали, а в результате остались одни головешки да кувшины, ни на что не годные, да надгильные плиты со стершимися буквами... И мальчик вдруг впервые подумал с изумлением и тоской о том, что это в конце концов происходит не с одними только древними гузами. Это происходит со всеми... И, может быть, даже с ним. Это было невозможно. Он улыбнулся от нелепости и печальной странности этой мысли. Он знал, что это так с другими, но не с ним... С ним этого не может быть, потому что как же так, чтобы его не было, когда он есть и живет, и дышит, и смотрит, и должен дышать, жить и смотреть — всегда.

Но профессор начал говорить о Султан-Санджаре, и мальчик отвлекся от своих мыслей. Профессор сказал о том, что был такой султан Санджар, очень жестокий, сильный, все трепетали перед ним и подчинялись. И был какой-то архитектор, молодой парень из Астыза. И вот он по велению Султан-Санджара начал строить эту громадину. И когда султан помер, его туда и поместили. Ну,

умер и умер, и все его забыли, вроде бы никто его не боялся и не страдал от него... Те, которые от него погибли, и знать не знали о Султан-Санджаре, а живые своими делами занимались — только помянут этого султана нехорошим словом, да и все. А мавзолеем стоит. Красота необыкновенная. Вот уже и архитектор умер, и сын его, и династия Санджаров кончилась, а мавзолеем стоит. Вот уже и века прошли, и уже могилу этого архитектора не разыщешь, да и фамилию его забыли, знают только, что звали его Мухаммед, а памятник стоит. Человека, значит, и в помине нет, а то, что он придумал и совершил, над чем старался, не гибнет.

Эта мысль приободрила мальчика, и он решил, что ему надо будет тоже что-нибудь такое сделать. Но он еще точно не знал что. Это надо было обдумать.

На другой день он пошел к мавзолею. С тех пор он стал бывать там очень часто...

И сегодня пешком, прямо из детдома, он отправился туда. Около мавзолея всюду был набросан кирпич, торчали какие-то деревяшки, сторожа не было, реставраторов тоже: они работали чуть ли не раз в неделю и приезжали сюда из города Мары.

Мальчик сел на песок, закурил: он иногда курил, покупал себе махорочные сигареты.

Археологи тоже сегодня не работали здесь, мальчик был одинок совершенно. Он жалел, что археологов нет, но такое одиночество ему тоже нравилось. Ему нравилось или многолюдье, или одиночество. Он не любил сидеть с кем-нибудь вдвоем и вести беседы. Он не знал, о чем говорить, например, об археологах, или о профессоре, или о Султан-Санджаре. Это было внутри него — чем-то неопределенным, трудно передаваемым. А он мог говорить только о фактах: учусь там-то, работаю там-то, живу там-то.

Он был молчалив. И ему нравилось молчание пустыни. Здесь он мог думать о своих родителях, о том, какие они были, как жили. Он их не помнил совершенно, иногда ему казалось, что он их помнит — их жесты, расплывшиеся очертания лиц, звуки голосов. Но потом это исчезало, как оборванный сон: ни забыть, ни вспомнить. Тосковал он о них? Да нет, чего ж тосковать, если он их не знал, не помнил. Только иногда он думал с печалью и странным

раздражением: «Почему я родился в этом городе, когда есть тысячи других городов, где люди никогда не гибнут от своей земли?» И он не любил этот город, хотя знал, что Ашхабад отстроен уже и красив, но ему не хотелось туда.

Он выкурил сигарету, бросил ее, вошел внутрь мавзолея, постоял над гробницей, послушал, как гулко и протяжно кричали птицы. Сегодня они кричали громче, чем обычно, — может быть, пустыня ждала дождя. Ему стало тревожно и весело от этого крика, оттого, что завтра, может быть, будет дождь. Завтра воскресенье, и он поедет к знакомым чабанам, будет есть дыни и пить холодный чал — верблюжье молоко, пасти отару на выгоне вместе со своим приятелем Мурадом.

Птицы орали нестерпимо громко, купол усиливал их голоса, и мальчик крикнул, пугая птиц. Его крик, как распоротый воздушный шарик, чуть взлетел вверх и бесильно упал здесь; внизу звук был слаб, немощен; там, наверху, почти всесилен. Мальчику захотелось вверх, к куполу, к сплетению серых, замерших в полумраке конструкций. Ему хотелось туда всегда, когда он приходил к Султан-Санджару, но то работали реставраторы, то он боялся и, взобравшись на первый пролет, возвращался вниз.

А сейчас ему страстно захотелось вверх, он чувствовал легкость, и силу, и острое любопытство к высоте. И он полез вверх ловко, быстро, спокойно. У него хорошо было развито чувство равновесия, на уроках физкультуры он лучше всех ходил по перекладине.

Движение захватывало с каждым метром, с каждым новым переходом вверх, с каждой новой полуразрушенной лестницей, висящей между небом и землей. И с каждым метром движения его автоматически становились увереннее, осмелительнее, трезвее. Он чувствовал это и радовался этому. Он думал: «Может быть, спуститься? Зачем мне вершина Султан-Санджара, чего я там не видел?..» Но высота теперь уже владела им, и, сам того не сознавая, он шел вперед к цели, уже не умея свернуть с пути.

«Пора назад, — говорил он себе, — еще разобьюсь, как дурачок».

Пыль сыпалась на него, она слежалась, превратилась

в комки, была тяжела, как глина. Птицы галдели уже рядом, прямо над головой, а внизу крохотным квадратиком серела гробница Султан-Санджара.

Теперь он был почти на вершине, он остановился, плюнул вниз, засмеялся и тихо сказал:

— Все.

Тихий возглас прозвучал низко и мощно, точно не он произнес это короткое слово, а чья-то луженая, страшная глотка.

— Высота! — закричал мальчик.

«Ата...» — подхватили стены.

«Та-а-а...» — громыхал купол.

«А-а-а...» — гудел молчаливый, обалдевший от дерзкого, неслыханного грохота Султан-Санджар.

Мальчику понравилось. Он бросал в эту глотку, под этот невидимый усилитель все новые и новые слова. Ему не хотелось молчать, он узнавал радость голоса, радость звука, принадлежащего уже не тебе. Наконец он выбрался на самый верх, на овал купола.

Он посмотрел вниз не сразу, обождав, чтобы не закружилась голова, стерев пот со лба и щек. Посмотрел сначала как бы вполглаза, а потом стал смотреть жадно, с напряжением, с радостью и видел пустыню так, как будто бы никогда до этого не видел ее. Она походила на огромную смятую кошму, желтела ярко, далеко. В пустыне было много воздуха, и было странно, что там, внизу, тяжело дышать. Теплый, мягкий ветер проходил над барханами легко, овеивал их несильно, почти нежно, как веер.

Мальчик бросил вниз камешек. Камешек летел долго, переворачивался, точно крошечный парашют. Мальчик с озорством подумал о том, что и он мог бы вот так же лететь вниз, переворачиваясь, как парашютист, упасть в мягкий теплый песок и не разбиться. Но он был достаточно осторожен, достаточно мудр, чтобы сделать хотя бы одно лишнее движение. Сердце его захмелело, а мозг работал четко и деловито. Он знал, что вниз лезть опаснее и гораздо труднее, но не жалел, что поднялся, и был уверен в себе. Он надеялся на Султан-Санджара: Султан-Санджар не должен был подвести его.

Вдруг он услышал внизу легкое шелестение. Подошла машина. Из нее вышел человек, маленький, шагающий

сердито, быстро... Человек шел, чуть избычив голову, шагал прямо на Султан-Санджар, затем остановился на полшаге как вкопанный, поднял лицо и посмотрел вверх.

Мальчик узнал профессора. Фигура эта была знакома мальчику почти так, как если бы это была фигура отца. Он даже ощутил запах, связанный в его представлении с профессором: запах бритья, одеколона «Эллада», детского мыла. Чуть поодаль темнела фигурка шофера.

У мальчика все заняло внутри от желания быть замеченным профессором, быть замеченным не на секунду, а надолго, может быть навсегда.

Профессор стоял внизу, задрал большую седую голову, смотрел с изумлением и, как казалось мальчику, с недовольством. Мальчик отпрянул от края купола, он испугался этого недовольства, он вдруг подумал, что теперь профессор не станет его пускать к археологам, что все это было глупостью, что больше он не увидит профессора из-за своей дурацкой затеи.

Отступая, он видел, как профессор махнул ему рукой, приказывая не двигаться, услышал его голос, слабый, как бы выдохший.

Еще отчетливее он слышал голос шофера:

— Какого... черта... забрался... куда... понесло?..

Это кричал шофер Митя, он тоже сердился. Раньше они его не замечали, теперь они сердились. Потом он снова отчетливее услышал голос профессора.

— Вызовем... Снимем!.. — кричал профессор.

— Не надо! Я сам! — испуганно и радостно крикнул мальчик, счастливый тем, что если профессор и сердился, то не очень, что профессор заботился о нем.

— Я сто раз тут лазил! — кричал он. — Только подождите!

— Ждем! — крикнул профессор, сложив руки рупором. — Только не разбейся!

— Не разобьюсь! — ответил мальчик и добавил почти шепотом: — Только подождите, еще несколько минут подождите, еще несколько минут подождите, и все будет в порядке, все будет в порядке...

Так они кричали друг другу и волновались, а Султан-Санджар равнодушно молчал, потому что крик шел не вниз, не в своды, а мимо — в воздух. Ему было все равно,

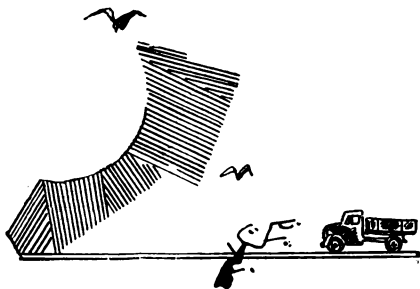
он видел тут всяких людей: мальчиков, и профессоров, и муэдзинов, и реставраторов. Даже Омара Хайяма он видел здесь.

Омар Хайям появлялся здесь частенько, он служил астрономом у султана Санджара. Султан не интересовался поэзией.

Поэзией Хайям занимался внештатно.

Давно это было.





НОЧНОЙ СЕАНС

На повестке дня комсомольского собрания целинного совхоза стоял вопрос о Дронове. Объявление было приколото к дверям бывшей бани, а ныне клуба (из-за острой нехватки места для культурного отдыха баню перевели в специально оборудованный вагончик).

Объявление гласило: «Пункт третий повестки дня — очень неэтичное поведение Дронова Вани, киномеханика. И все вытекающие отсюда последствия». Повестку составлял недавно избранный член комитета Микитдинов Сельмаш (имя было дано, видимо, во времена коллективизации в Казахстане). Сельмаш любил таинственные и грозные намеки, и объявление было составлено в его стиле.

А за день до собрания ко мне подошел Ваня Дронов. Карие его глаза были печальны, темны. Солнцу, веселящемуся в поселке, не было туда доступа: отныне оно померкло для Вани Дронова, совершившего неэтичный поступок.

— Я хочу посоветоваться с вами, — сказал он.

— Буду очень рад, — ответил я.

— Видите ли, я в этом совхозе с первого дня, а Сельмаш и другие пришли сюда недавно. В общем-то они са-лажата. Так вот, чтобы они поняли, в чем дело, я написал объяснительную записку... Пусть прочтут, а уж потом судят. Здесь я описал все с самого начала... Может, я чего и не так написал, но я писал так, как было. Возьмите, пожалуйста.

Вечером, когда в совхозе уже выключили движок, в призрачном, зыбком свете керосиновой лампы, в тишине, которая была столь сильна и звеняща, что доносила далекий угрюмый голос тракторов, ведущих ночную пахоту, читал я объяснительную записку Вани Дронова.

Сейчас все это позади, но история, рассказанная им, показалась мне любопытной. И я попытался восстановить ее в том виде, в каком пришла она ко мне в тот апрельский вечер со страниц школьной тетради, исписанной быстрым, словно бы захлебывающимся в беге почерком.

«На целину я приехал из Ангарска. Работал в Ангарске киномехаником на передвижке... А работа у нас какая: ездешь по строительным организациям, картины крутишь. Когда-то здесь, говорят, тайга была, только я лично этого не застал. Город и город. Хороший город, красивый, говорят, на Ленинград похож — по ленинградским проектам строили. И Дворец культуры такой, что и в Ленинграде ему стоять не стыдно, и кинотеатры всякие, и ресторанчики есть. И называются звучно: один — «Тайга», другой — «Ангара». И в них отдохнуть можно, культурненько так: выпиваешь себе под полонез Огинского. Словом, жили мы как у бога за пазухой. Но однажды вызывают нас в городской культотдел и говорят:

— Ребята, на данном этапе у нас в городе киномехаников хватает, на стройках тоже дело поставлено неплохо, а вот на целине по кинофильмам скучают. Кто из вас отзовется на патриотический призыв? — И смотрит на нас начальник вопросительными такими глазами.

Честно скажу, не очень я на целину рвался. Но, если рассудить по совести, кому, как не мне, поехать? Семьи у меня нет, света я толком не видел... Эх, была не была, думаю, буду нести культуру в массы на целинном фронте! И говорю, как отрубая:

— Записывай меня, начальник!

И начальник обрадованно так быстренько меня записывает. Записывает и приговаривает:

— Молодец, Дронов, правильно отозвался. Там тебе степь, там тебе простор орлиный. Будешь культурную целину поднимать... Не пожалеешь.

Приезжаю я, значит, сюда. Ну и, не оглядевшись толком, прямо к директору совхоза.

— Прибыл к вам на работу. Культурную целину поднимать. Киномеханик.

Смотрит на меня директор и улыбается. Грустно так улыбается. И говорит:

— Спасибо тебе, товарищ киномеханик, что приехал ты культурную целину поднимать... Если хочешь помочь, бери, киномеханик, косу — камыш косить будешь.

— Что-о?! — говорю.

— Камыш, товарищ механик. Жилья нет, место еще не расчищено, людей принимать надо... Тут у нас жизнь веселая, что твоя кинокомедия.

Вышел я из конторы, огляделся и ничего не увидел. Степь. Степь да степь кругом... Даже еще вагончиков не привезли. Мог я, конечно, раз такое дело, путевочку в карман — и счастливо вам оставаться. Основания у меня были. Но неудобно как-то стало. Перед собой неудобно... И пошел я камыш косить. Вручную косил, и на косилке, и по-всякому. А потом на «газике» людей возил, и семена, и за вагончиками ездил на приемку. Тут и забыл я о своих кинокартинах. А весна была холодная, недобрая была весна. И небо здесь низкое, свинцовое, не поймешь — то ли степь, то ли небо. Да, серьезная была обстановка. А девчат — трое на весь совхоз. Ни тебе солнца, ни тебе женской ласки. Но мы на это внимания не обращали. Работали. Палатки поставили. Хорошие такие палатки, новенькие, крепкие, а все же снег нет-нет да и щелочку найдет. Проснешься — на щеке что-то колючее, противное. Пробрался-таки, подлец, в жилое помещение. Но в общем работали с настроением, неплохо работали. Построили дома, столовую; и как раз время сева подошло. Первый сев!

Вызывает меня к себе директор и говорит:

— Ну, кинематография, есть для тебя подходящее занятие.

— Что, картины крутить? — спрашиваю я удивленно.

— Вот именно. Посадим мы тебя, механик, на бензовоз, и будешь ты наших механизаторов горючим снабжать. Вот будет картина, ну прямо чистый Пырьев.

На бензовоз так на бензовоз... Целина. Тут хоть кем станешь.

И вот шурую я на бензовозе от одного трактора к другому. Зальешь в глотку эту ненасытную сто литров — и жмешь к следующему. А ночью еще на нефтебазу сгоняешь в район, километров за сорок от совхоза.

И вот однажды дали мне передохнуть. Иду я по поселку, легко мне как-то, непривычно, землю пахнет, травой, а не соляной. И чудно мне показалось идти вот так, руки в брюки, насвистывать. Состояние невесомости. И вдруг заскучал я. Не по дому, не по девушке. Да не было у меня никогда девушки... По кино меня взяла тоска. Показалось мне, что не трава шуршит, а лента моя в аппарате стрекочет, звонко, радостно... И тянется, тянется из проекционной светлый лучик, и трогает он экран и сердца человеческие трогает. И слышу я, как из темноты зала шепчут мои зрители: «Неужели он ее не догонит?»

А я-то знаю, что он ее догонит и все кончится преотлично, я-то знаю, но молчу. А ведь бывало раньше, что надоедали мне эти фильмы со страшной силой... Но сегодня я дорого бы дал, чтобы увидеть, как гаснет свет, и экран становится серым, и начинается короткая бурная жизнь, срок которой всего полтора часа... Но это впереди. Это будет. Посеем пшеницу, корма, а остальное будет. И кино, и концерты... Будет тебе и кофе и какао, как говорили наши киномеханики. А пока, товарищ Дронов, вози свое горючее и постарайся не расплескать его. Для того чтобы поднять целину, нужно много горючего. Чтобы оно горело, не сгорало в людях и в машинах.

Но вот прошла страдная пора; посеяли мы овес, пшеницу, кукурузу, получили первый урожай, построили поселок.

Наступила новая весна. И тогда в третий раз вызвал меня директор. И я сказал ему:

— Ну, кем мне теперь работать?.. Может, на птицеферму переключиться? У нас, говорят, теперь птичники будут в почете.

И он смотрит на меня серьезно, даже торжественно. Ну, думаю, придумал что-то особенное, из ряда вон. Может, он меня в летчики определит? Поля опылять... Молчу, слушаю. А директор говорит:

— Давай-ка, Ваня, езжай в Кустанай, принимай кинопередвижку. Настало твоё время, механик.

А через неделю качу я на своей передвижке и везу на полевой стан «Серенаду Солнечной долины» (ничего поновее в городском культотделе дать не могли). Еду по степи, дорога ужасная, глина, но мне это ни по чем... Еду как хмельной. Видно, весна меня так захмелила. А может, и радость оттого, что вновь к делу вернулся. Машина вязнет, буксует, а я кручу баранку, напеваю, и на душе у меня чисто, просторно, точно весь зимний хлам ветром сдуло. Еду я час, еду два, потом на речку наткнулся, а речка по весне разлилась, и дороги нет. Пришлось ехать в объезд. И тут сбился я с дороги. Вокруг ни одного живого существа, степь. И глазам не за что уцепиться, пустынная, желтая земля... Дурманит она мне голову весенним своим запахом, сухой горечью своей, точно хочет заколдовать, навсегда здесь оставить. Ну и взяла меня тогда тоска. Острая, внезапная. Затосковал я по лесу нашему русскому, по лесным туманам, по высокой траве, не такой, как здесь, а мягкой, росной. Таким одиноким, заброшенным меня вдруг степь сделала, что изругал я ее и плюнул на нее в сердцах. Но не поворачивать же обратно.

И вдруг издалека-издалека, оттуда, где степь переходит в бледное невысокое небо, прямо на меня вылетела черненькая стремительная точка. Я чувствовал себя Робинзоном Крузо, а навстречу мне двигался Пятница. «Скорее, скорее, Пятница! — хотел крикнуть я. — Мне плохо здесь, одиноко, я не знаю дороги. Жми, Пятница!»

А Пятница все ближе и ближе. И вот уже я вижу фигурку, слившуюся с конем. И дальше я, вполне трезвый парень, трезвый по своему характеру и по состоянию на сегодняшний день, выпустил из рук баранку от изумления... А может, просто весна тому виной? Из рыжей бесконечной этой степи на маленькой казахской лошадке прямо на меня скакала девушка. Она сидела на коне легко, статно и женственно, не так, как здешние чабаны. Я остановил машину. «Вот это да!» — подумал я восхи-

щечно. Потом я знаками стал спрашивать, как проехать к полевому стану. Она, видимо, была чабаном, а многие чабаны плохо говорят по-русски.

— Что вы жестикулируете, как фокусник? — сказала она.

Я опешил. Девушка-чабан разговаривала на уровне центральной улицы города Ангарска.

— Я, понимаете, заблудился, — сказал я робко.

— Заблудился в степи! — засмеялась она. — Это же не лес!

— А вы были в лесу? — спросил я.

— Нет, — улыбнулась она.

— Так вот в лесу я бы не заблудился. Лес — это вам не степь. Вся надежда на вас.

— А стоит ли вам показывать дорогу? — сказала она и улыбнулась.

Улыбка у нее была потрясающая. Озорная, мягкая и очень юная. Когда она улыбалась, ей сразу становилось пятнадцать лет.

— А что, я не внушаю вам доверия? — спросил я.

— Мне не внушает доверия картина, которую вы везете. Наверно, это «Песня табунщика». Нам всегда такие показывают.

— Нет, — сказал я. — Это «Серенада Солнечной долины».

— Солнечная долина — это что, степь? — спросила она.

— Почти что, — ответил я. — Приблизительно похоже.

Но, видимо, ей надоело со мной болтать, и она повернула своего коня.

— Едем, я покажу дорогу.

Шла моя машина, тарахтела, а рядом бил легкий, дробный стук копыт. И мне все время казалось, что она вот-вот обгонит мою машину и исчезнет в степи. Хотелось мне ее удержать, сказать ей что-то хорошее, приятное. Вот хотя бы так, например: «Я рад, что вы встретились на моем пути». Или как-нибудь по-другому. В конце концов, я не большой мастер подобных обращений. И прямо так, с ходу я брякнул:

— Я очень рад, что вас встретил. — И, подумав, добавил: — Потому что вы указали мне дорогу.

Она искоса, удивленно посмотрела на меня и усмехну-

лась. Но не так, как раньше, а насмешливо. Она махнула мне рукой и крикнула:

— Не сбивайтесь с пути!

И поскакала назад по ковылю, по бледненьким распускающимся тюльпанам.

«Неужели все?» — подумал я. И, высунувшись из кабины, я крикнул:

— Как вас зовут?

Ветер донес до нее звук голоса, и она остановила коня.

— Как вас зовут? — крикнул я. — Имя? Имя-а!

Секунду она колебалась.

— Имя-а! — сложив руки рупором, снова закричал я. И, сломленная моим упорством, она ответила:

— Алтынчач.

«Алтынчач!» — неслось, пело над степью странное, незнакомое имя.

«Ну что же, — подумал я. — Я запомню его. Я запомню это имя: Алтынчач».

Прошло много дней с тех пор, и ни разу я не встретил Алтынчач. Не знаю, чем она задела мое сердце, но я думал о ней. А может, просто тот вечер был такой шалый, весенний! Но чем-то она меня тронула и удивила. Она была и лукавая по-городскому, и современная, и насмешливая. Но в то же время она была не похожа на наших городских девушек. Иногда я сам издевался над собой. Я говорил себе: «Просто от многих сотен фильмов, что ты прокрутил, у тебя мозги набекрень, вот и выдумываешь всякое».

Но что-то в моей жизни изменилось. Я жил будущим. Ожиданием. Ожидание было во всем: и в рассветах, ветреных, знобких, когда мы выскакивали из общежития к колодцу и стояли, зачерпнув ледяной воды, стояли, смотрели, как далеко-далеко над степью всходило маленькое пунцовое солнце. А вечерами комбайнер Федька Сланцев играл на гармонике, и девчонки (а их теперь приехала тьма-тьмуца) приходили разряженные и гордые. Только глазами поводят, только семечки сплевывают. И смотрят эдак грозно, неприступно. Не девушки, а броненосец «Потемкин». А мне было все равно. Среди них же не было

Алтынчач. И я уходил в сторону, туда, где кончается поселок, где в темном, тихом просторе пасутся одинокие огоньки тракторов. Степь, казалось, тоже что-то обещала.

В общем, однажды я решился и на пути с полевого стана заехал к Алтынчач. Не буду рассказывать, как я плутал, искал ее юрту. Это долгая история... Но все-таки я ее нашел. Юрта большая, шестиканатная. У входа старухи какие-то сидят, желтые, хмурые. Каждой лет по сто пятьдесят. Да и не поймешь, старухи это или старики. Сидят, кизяк жгут, варево варят. Вокруг юрты изгородь — иктырма по-ихнему. Высокая такая изгородь, из камыша, крепленная ивовыми ветками. Захожу я за эту изгородь, старухи меня увидели, залепетали что-то, а сами все смотрят на мою передвижку... Должно быть, испугались старухи. Может, подумали, что посажу я их к себе в передвижку и вместо фильмов буду показывать. Чудные такие старухи! Но и у меня вид дурацкий, растерянный, потому что волнуясь.

— Где Алтынчач? — говорю.

— Алтынчач? Алтынчач? — переспрашивают старухи.

— Где она? — говорю я и размахиваю руками.

— Алтынчач нет, — говорит одна из старух. — Траттор!

«Траттор» — это значит «подожди». А старухи хоть и испуганные, но гостеприимства не забывают. «Входи, входи», — показывают они руками. «Эх, была не была», — думаю я. И захожу.

В юрте сумрачно, тепло. Сушится на веревочке колбаса. Деревянные подпорки. На полу кошма. Патефон в уголке. Какие-то книжки. И прямо на меня в упор со стены обжигающими своими глазами смотрит с фотографии Алтынчач. Она в школьной форме. Так вот где она живет, Алтынчач!

А между тем меня сажают на кошму и подносят кислое молоко с рисом.

Поджал я ноги крест-накрест, пью молоко и испытываю некоторое неудобство. Ворвался в чужой дом, да еще машина у меня такая странная, бог знает, что они могут обо мне подумать.

И вдруг слышу, за стеной юрты старухи восклицают: «Алтынчач, Алтынчач!» И в ответ низкий, полузабытый

и очень знакомый голос. Ее голос. А через секунду она уже входила в юрту... Нет, она нисколько не удивилась, увидев меня. Она поздоровалась сдержанно, приветливо. Поправила волосы перед зеркалом, села на кошму.

— «Серенада Солнечной долины», — сказала она и улыбнулась.

— Алтынчач, я очень хотел видеть тебя. Честно. Очень хотел. Не сердись на меня, пожалуйста, Алтынчач.

Она молчала. Но мне показалось, что блестящие глаза ее, по которым мой взгляд скользил, как по прозрачному льду, потеплели.

— Я всегда рада гостям, — сказала она.

— Я готов гостить у тебя каждый день, — сказал я.

Она словно не заметила этой фразы. Она тоже хотела меня чем-то угощать, но я сказал ей, что тороплюсь, и просил проводить меня. И снова рядом с моим фургоном звенели копыта ее коня, и мне этот звук казался праздничным, как стук тоненьких балльных каблуков о паркет ангарского Дворца культуры.

— Теперь уж поползет молва, как дым от кизяка, — сказала Алтынчач.

— Старухи! — сказал я понимающе.

— Да, старухи. Они и так меня племянницей шайтана считают. Они говорят: «Город испортил тебя...» А теперь ко мне в гости пришел чужой человек. Человек на большой машине.

— Надо воспитывать их, — сказал я.

— Их воспитала степь, — сказала Алтынчач. — О, она умеет воспитывать.

— А ты любишь город, Алтынчач?

Глаза ее просияли.

— Очень люблю! — сказала она. — И вечера в городе, и теплый летний асфальт, и музыку из окон... И мороженое люблю, и карусель в парке культуры... Другие у нас не любят город, боятся его. А я люблю. Но степь я никогда не брошу...

— Никогда? — переспросил я.

— Никогда! — звонко сказала она.

— А если придет человек... Ну, которого ты любишь... и если он не захочет... если...

— Э, механик! — протяжно сказала Алтынчач. —

Степная птица покружится над городом, поклюет зерно на крышах — и снова в степь.

— Когда же мы встретимся еще раз, Алтынчач? — тихо сказал я.

— Когда-нибудь, — сказала Алтынчач. — Когда будет осень и трава станет желтой, а небо выгорит от солнца. Вот тогда и встретимся.

Но она лукавила, Алтынчач, дочь степи... Она лукавила, как городская девушка, которая прощается с парнем в подъезде своего дома... И я вышел из своего фургона и взял ее коня под уздцы.

— Алтынчач, — сказал я очень торжественно. — Я уже был косарем, бензовозом, киномехаником. Но я могу стать помощником чабана. Я буду кормить твоих овец, стричь шерсть. Только давай встретимся, пожалуйста.

Моя высокоторжественная речь дошла до ее сердца.

— Когда и где? — деловито спросила Алтынчач.

— Завтра, — сказал я. — В восемь. Но где? — Тут я замешкался. «Под часами у парка, — почему-то подумал я. — А ведь где-то есть на свете уличные часы, парк...»

— На жейлау, — решительно сказала она. — На жейлау, на летнем пастбище, возле реки.

— Хоть у самого шайтана! — радостно сказал я. — Хоть у аллаха! Хоть у черта на рогах!

Но Алтынчач уже не слышала. Она скакала назад, к своей юрте, скакала резво, стремительно и все горячила, горячила коня.

...Я добирался до того выгона на тракторе. Меня «подбросил» попутный трактор. Я ехал туда три часа. Я надел белую рубашку и чехословацкий галстук. Я ждал Алтынчач до того времени, пока степь не стала беспросветно темной. Но она не пришла.

Я видел ее через месяц на центральной усадьбе совхоза. Там, в помещении конторы, собралась молодежь из нашего и соседнего совхоза, работавшая после школы в животноводстве. Я не имел к животноводству никакого отношения, но пошел туда... Алтынчач сидела в президиуме. Ее имя все время склоняли и спрягали. Оказывается, она окончила в Кустанае десятилетку чуть ли не с медалью и пошла работать чабаном в совхоз. Она избрала профессию своих родителей и дедов. Ее хвалили и за настриг шерсти, и за малый процент падежа, и еще за что-

то... В этом я не разбираюсь. Я понимал только одно: здесь Алтынчач, что называется, в седле... Она видела меня. Она сидела за зеленым столом, красивая, строгая. Казалось, она нарочно притушила блеск своих глаз, чтобы я не задымился. На ней была стильная белая кофта, в ушах серьги — ни дать ни взять, какая-нибудь мексиканская кинозвезда.

Но вот моя кинозвезда взяла слово. Нет, она не стала благодарить за те теплые слова, что произносили в ее адрес. Она, что называется, начала косить сплеча.

Она сказала, что сейчас, когда перед целинными совхозами стоят новые задачи в животноводстве, роль чабана резко меняется. Чабан должен знать сельское хозяйство, ветеринарию, должен работать культурно и современно. А десятиклассники неохотно идут в чабаны. Почему? Да потому, что роль-то изменилась и ответственность стала выше, а был все тот же, что и многие годы назад. Неужели нельзя придумать новой, практичной одежды из химзаменителей вместо тяжелого древнего чабанского наряда, весящего килограммы? Юрты устарели, они очень дороги, а новых, легких юрт из алюминия и брезента не хватает. Да и сделаны они плохо. Передвижной бани, обслуживающей чабанов, нет. Передвижной библиотеки тоже нет, и, наконец, чабаны месяцами не видят фильмов. Кинопередвижку к ним не посылают. Объясняют это тем, что, дескать, чабаны оторваны друг от друга. Расстояние от юрты до юрты велико. Говорят: не показывать же каждой семье в отдельности...

— Показывать! — радостно закричал я с места.

Но на меня зашикали.

И дальше Алтынчач рубила в том же духе. Вообще-то, я думаю, к ее предложениям стоило бы прислушаться, поэтому я их подробно излагаю. Впрочем, я не специалист в этой области...

Алтынчач вносила свои предложения, и зал встречал их шумом. Алтынчач сказала, что если будут созданы условия, то кончится пресловутая чабанская темнота, косность, суеверие.

Вот такую речь выдала Алтынчач. Я еще не все изложил. Она развела там такие теории, что я сидел как пришибленный; уж больно она оказалась бойкой. А потом с ней спорили, ей доказывали, кое в чем соглашались, но в

целом начальство считало, что она преувеличивает. Правда, ее хвалили за творческую мысль и всякое такое прочее... И говорили, что сама Алтынчач — это пример нового отношения к труду и быту. Что Алтынчач и другие десятиклассники, работающие в животноводстве, — это тоже «плоды» целины.

Когда кончились выступления, я решил пробиться к Алтынчач, но не тут-то было. Ее атаковали какие-то корреспонденты, ей задавали вопросы пастухи и чабаны из соседних совхозов. Всем она отвечала, всем улыбалась и для всех находила словечко...

Только для меня у нее не было ни словечка.

Может, потому, что я не был в курсе чабанских проблем. Во всяком случае, я так и не прорвал это кольцо вокруг моей Алтынчач. Да и неудобно мне было... Уже темно. Я слышал, как этих самых животноводов рассаживают по машинам, как гудят «газики», как мигают и пропадают в степи красные огоньки.

А когда уходила последняя машина, я увидел Алтынчач.

Она сидела среди своих товарищей и подруг в крытом кузове, и смеялась, и о чем-то болтала. И тут я не вытерпел. Плевать на гордость, плевать на все...

— Алтынчач! — крикнул я. — Почему ты не пришла?

Она помедлила с ответом, поискала меня глазами в темноте, увидела. И почему-то мне показалось, что она улыбнулась.

— Меня не пустили! — крикнула она. — Ро-одители!..

— А завтра? — крикнул я.

Но машина уже набрала скорость. Она все быстрее и быстрее бежала по степи, и мне оставался только красненький огонек на прощание. Он был тусклым, этот красненький огонек. И я понял, что, если буду сидеть сложа руки, он погаснет для меня навсегда.

И в эту ночь ко мне пришло решение. Я буду бороться не один. Я забыл, какая огромная сила есть в моих руках. Сила кино. Даром, что ли, я слышал всю свою жизнь о том, как искусство переделывает человека. И с лихорадочной быстротой я принялся составлять план действий. У меня есть две картины: «Ромео и Джульетта», фильм-балет, и «Дорога длиною в год». Какую выбрать? «Дорога длиною в год» не на тему. Фильм-балет? Уж больно много

музыки. Но зато Шекспир, любовь, страсти, родители, мешающие счастью детей. С одной стороны, эта картина должна зажечь Алтынчач, с другой — это культпросветработа, с третьей — борьба с предрассудками старух, с четвертой... Словом, сторон было много, времени — мало. Но была одна сторона, смущавшая меня. Все мои сеансы строго запланированы, а работу вне плана могли счесть «леваком». Но если это «левак», то да здравствуют такие «леваки»! Это «левак», подсказанный сердцем.

Вечером по путевке я отправляюсь на полевой стан в тракторную бригаду и прокручиваю «Ромео и Джульетту».

На обратном пути я волоку свой фургон объездом, туда, где находится юрта Алтынчач.

Уже поздно, темно... Должно быть, они спят. Но мне нечего терять, кроме собственных цепей. Дальше события развиваются как в кино. В половине одиннадцатого я подъезжаю к юрте. На меня лают рыжие толстые собаки. Испуганно блеют овцы.

— Выходи все! — кричу я. — Киносеанс будет. Специальный обязательный киносеанс.

Но вот появляется Алтынчач. Даже она несколько испугана.

— Что такое? Почему ты здесь?

В первый раз она говорит мне «ты».

— После твоего вчерашнего выступления, — говорю я, — в нашем целинном совхозе принято решение усилить культработу с чабанами. Вводится специальный поздний сеанс.

— Вот это забота! — говорит Алтынчач. — А ранние утренники будут?

Хитра девка, чувствую, уже обо всем догадалась.

— Хватит ли тебя на каждую чабанскую семью, кино-механик?

— На вашу семью хватит... А там посмотрим.

— Что же ты привез нам? «Серенаду Солнечной долины»?

— «Ромео и Джульетту», — говорю я не без гордости.

— Ну и новинка! — говорит она.

— Шекспир бессмертен, — отвечаю я твердо.

И вот из юрты выходят старухи, мать Алтынчач, баб-

ка Алтынчач (по-моему, она ровесница Шекспира) и какие-то совсем юные граждане, должно быть, ее братья.

Они садятся на землю и с любопытством (а также с некоторым недоверием) смотрят на экран. В своей жизни они, наверное, не часто ходили в кино. Но чтобы кино приехало к ним домой, в юрту, чтобы кино показывали в степи, ночью, с автомашин, — это было неслыханно.

И даже Алтынчач, сидящая в стороне от них, улыбается удивленно и покачивает головой.

Но вот уже лучик протянулся к маленькому экрану, вот уже в нем задрожали пылинки и сквозь кашель, бормотание (аппарат, он, как человек, после долгого молчания теряет голос), сквозь треск и шипение прорезается музыка. И под эту музыку начинают страдать Ромео и верная ему Джульетта. Но я не буду описывать их страданий. Они общеизвестны. К тому же с меня хватит моих собственных страданий.

Крутится лента, танцует Ромео, изящный и статный, еще не зная, что ему суждено умереть. И древние казашки заворуженно следят за его танцем, и тонкий, как лоза, он, может быть, напоминает им молодых нежных батыров их юности. А когда я перематываю пленку, они смотрят на меня с почтением, потому что это я извлек из ночной степной темноты пестрые улицы далекой сверкающей Вероны... Как ни говори, а все же в этот вечер немощно я был волшебником. И я сражался с ними, сражался с их предрассудками и недоверием, сражался за Алтынчач, потому что для меня она была главнее Джульетты. И хотя мое оружие частенько выходило из строя (узкоплечный аппарат был так себе, не очень новый), все же я верил в силу кино. А когда кончился сеанс, я не увидел моих зрителей — было уж очень темно. После этого сеанса свет не зажигался. Но они сидели очень тихо и что-то обдумывали, и о чем-то жалели. Может быть, они жалели о своей молодости, в которой не было фильмов, а была только степь и была только усталость. А может быть, они думали об Алтынчач, о том, что она хочет жить по-своему, по-новому. А может быть, они просто ждали продолжения. Кто их знает, старух, о чем они думают?

Алтынчач же сидела тихо и безучастно.

Старухи наконец встали и начали что-то говорить мне.

Я догадался, что они спрашивают: «Куда пойдешь?..» Дескать, уже поздно.

«Ишь вы какие гостеприимные старухи,— подумал я.— Теперь вы добрые стали. Лучше бы пустили Алтынчач ко мне на свидание».

Они снова угощали меня кислым молоком, махали руками и все уговаривали, уговаривали.

— Ладно,— сказал я.— Спокойной вам ночи. А нам с Алтынчач надо поговорить.

Они, конечно, не поняли, но Алтынчач что-то звонко сказала им, и они ушли в юрту. А мы остались одни. Мне было странно, что Алтынчач стоит около меня, стоит, а не скачет на коне, не уезжает на машине в темноту, стоит, никуда не торопится. А звезды были очень крупные. Здесь, на целине, огромные звезды, и висят они очень низко. И чернота неба сливается с чернотой степи — от этого звезды ярче.

— Ты хорошо сделал, что приехал,— тихо сказала Алтынчач.— Ты смелый... Мне нравятся смелые.

— А мне нравишься ты, Алтынчач,— сказал я и подумал, что не так говорю. Не так, не так.

— погоди, не торопись,— сказала она.— Здесь темно, и ты не разглядел меня как следует. Надо много часов и дней смотреть на человека, прежде чем скажешь ему такие слова.

— А я не могу ждать. Я разглядел тебя. Я видел тебя днем в солнечной степи, и вижу сейчас в темноте, и хочу видеть тебя всегда.

— погоди, погоди,— прошептала Алтынчач.— Ты же не любишь степь, а без степи нет Алтынчач.

— Я люблю степь,— сказал я.

Я взял ее за руку, и мы стояли молча, не двигаясь. Рука у нее была твердая, маленькая и очень теплая.

— До свидания,— сказала Алтынчач.

— Когда оно будет, это свидание, ты же опять не придешь, тебя же опять не отпустят?

— Приду,— сказала она.— Теперь они поверили в человека с большой машины. Только не заблудись в степи. Ладно?

— Я не заблужусь,— сказал я.— Теперь-то я уж не заблужусь.

Я сел в свой фургон, завел мотор, а она все стояла на месте. Желтая пушистая собака подошла и легла у его ног. Где-то вдали жгли солому, и огонь колебался, то становясь маленьким, как светляк, то разрастаясь в костер.

— Алтынчач! — крикнул я.— Алтынчач! (Мне очень нравилось это имя.)

Машина уходила, а она все стояла у юрты, стояла неподвижно и тихо махала мне рукой. Наверное, она улыбалась той улыбкой, что я люблю...

Такова история моего поступка, очень «неэтичного», как выразился Сельмаш Микитдинов. Такова история ночного сеанса.

Не знаю, кто «капнул» на меня, но меня обвинили в нарушении трудовой дисциплины, в незаконном использовании киноплёнки и прочих грехах...

Сегодня меня будут обсуждать. Но все-таки на целине я не первый день, и я знаю, что делаю. И я думаю, что наши кинемеханики и наши чабаны заслужили своей работой на целине с первого дня до нынешних времен право на один внеочередной сеанс».

Так кончалась объяснительная записка Вани Дронова. Было уже поздно, когда Ваня Дронов пришел ко мне.

— Я передумал,— сказал он мне.— То, что я здесь написал, не в счет.

— Почему? — спросил я с удивлением.

— Да ну их всех, буду я еще душу выворачивать! Я это, собственно, для себя написал. Хочу, так сказать, проанализировать. И очень мне нужно, чтобы они судили да рядили.

— Да они поймут,— сказал я.— Что они, не люди, что ли?

— Захотят — и так поймут.— В голосе его была обида.

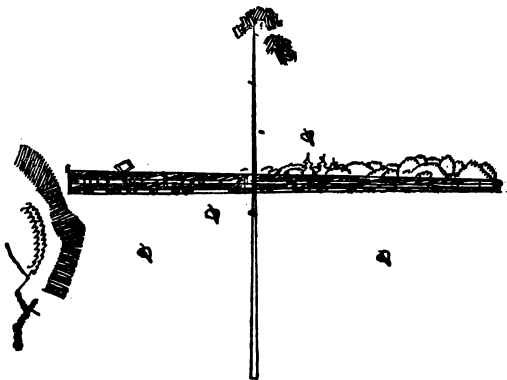
Собрание состоялось на следующий день... И знаете,

что сделали Ване Дронову? Ничего не сделали. Более того, ему чуть не объявили благодарность.

Нет, он не стал читать свою объяснительную записку. Просто на собрание приехала Алтынчач. Она выступила с речью. Она превратила Дронова чуть ли не в героя, который, рискуя жизнью, ночью отправился проводить среди чабанов культработу.

И все заслушались... Уж Алтынчач кого угодно убедит, можете быть спокойны.





СТАНЦИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Улицы дачных поселков почему-то всегда носят громкие названия. В то лето мы жили на улице Парижской коммуны. Она была узенькая, горбатая. На ее тусклой затоптанной траве паслись козы Роза и Люба. Щуплые, с грязно-серой шерстью, они не умели бодаться и панически боялись велосипедов.

Целыми днями я играл с ребятами в футбол. А когда камера от заплатанного ветхого нашего мяча лопалась, сразу становилось скучно. От нечего делать я шел на станцию смотреть на проходящие поезда. Паровозы начинали кричать всегда неожиданно, и я открывал рот, чтобы не пострадали барабанные перепонки. Этому меня научил Гришка.

Гришка жил здесь всегда. Здесь же он и учился. Отец его погиб на фронте, а мать работала кассиршей на станции. Мы все время проводили вместе. Иногда, правда,

Гришка подрабатывал: мастерил на участках столы, скамейки. Он хорошо знал эти края. Мы ходили с ним далеко в лес, где был заросший прудик с ржавой неподвижной водой, на которой лежали сверкающие золотистые головки кувшинок. Кроме того, Гришка открыл и другое замечательное место — недостроенный дом.

В нем было прохладно, сумрачно, а бревна потемнели и пахли лесом во время дождя. Вокруг стояли сосны, и дачный поселок казался очень далеким от этого дома. Мы шепотом рассказывали друг другу разные истории, и я под руководством опытного Гришки учился курить. Этот дом был нашей тайной. Я таскал у отца папиросы, а Гришка приносил жмых, который мы дружно грызли.

Так проходило лето, и незаметно трава на нашей улице порыжела, а в канавках у заборов дач скопилось много мокрых измятых листьев. Их меланхолично пожевывали козы Роза и Люба.

Дело шло к 1 сентября, к учебнику Шапошникова по алгебре и к геометрии Киселева, к финальному матчу на кубок по футболу — словом, к Москве. Но пока еще была дача, каникулы, и мы не теряли времени даром.

Однажды мы играли в футбол на нашей улочке. Напротив нашей дачи стоял дом с высоким, желто, солнечно блестящим краской забором.

От сильного удара мяч перелетел через забор. Мы посоветовались и решили переступить запретный порог. Гришка подтянулся на руках, его складное, небольшое тело напряглось, мелькнули загорелые пыльные ноги, и уже с той стороны послышался звук пружинящего прыжка. В этот самый момент лязгнули засовы, калитка отворилась, и на улицу вышла девочка. В руках она держала наш мяч. Девочку эту я видел в первый раз. У нее был совершенно не дачный вид — будто она только что вернулась из школы. На черном фартуке сверкал новенький комсомольский значок. Лицо ее совершенно не загорело. Мы с гордостью почувствовали себя почти неграми в сравнении с ней. Она подошла к нам и сказала очень непринужденно:

— Здравствуйте. Меня зовут Инна. Вот ваш мяч. Если можно, примите меня... А то я совсем одна.

Мы ничего не успели ей ответить, когда увидели над забором печальную физиономию Гришки.

— Капут мячику,— сказал он и только после этого оглянулся, увидел Инну и покраснел.— Извините,— вяло пробубнил он.

— Да ничего особенного. Вы молодец, что перелезли через такой забор. Мне через него не перелезть,— с уважением сказала Инна.

Но это не подействовало на Гришку. Он был по-прежнему мрачен.

Мы стали играть в волейбол. Мы очень старались перед Инной: делали невероятные прыжки, гасили все мячи подряд. Поэтому игра у нас не получалась. Первой это почувствовала Инна. Она сказала:

— Ну ладно, мальчики, спасибо за компанию. Я пойду.

Но, видимо, ей было действительно невесело там, в пустом просторном доме, и она ушла от нас не сразу.

Я спросил ее, почему она приехала на дачу так поздно. Она ответила, что весной болела и поэтому экзамены за семь классов держала сейчас. Вчера она сдала литературу и получила пятерку. Я сказал ей, что тоже всегда имею по литературе пятерку, потому что это мой любимый предмет. Гришка исподлобья глядел на меня. Ему нечем было похвалиться. По литературе письменной он получал только двойки и тройки. Вообще во время этого разговора я не узнавал его. Он все время молчал.

На следующий день рано утром Гришка не зашел за мной, и я, выскочив на улицу, стал один гонять мяч. Я делал это нарочно очень шумно, чтобы Инна слышала и вышла.

Но калитка была заперта, забор строго отделял участок от всего остального мира, и казалось, что за этим забором вовсе никого нет, что вообще вчерашнее мне только почудилось и девочка в черном фартуке больше никогда не выйдет на нашу пыльную улицу. Мне как-то сразу стало скучно и не захотелось больше играть в футбол с самим собой. Даже наш недостроенный дом, и Гришка, и тайное курение — все это сразу потускнело, потеряло привлекательность и смысл. Мне вдруг захотелось домой, в Москву.

Я сел на землю, положил около себя футбольный мяч и стал думать о Москве. Но вдруг калитка открылась. Я почувствовал, что мной овладевает волнение, какое бывает перед экзаменом,— какой-то холодок в животе.

Я вскочил и увидел Инну. При этом я сделал вид, что во-все ее не ждал.

— Я тут тренируюсь в футбол,— сказал я.— Я стою вратарем за сборную школы. У нас скоро матч с двести восемнадцатой. И мне нужно войти в форму.

Почему я это сказал, сам не знаю. Мне очень хотелось, чтобы она подумала, что я хороший спортсмен. На самом же деле я никогда не стоял за сборную школы, хотя это было моей давнишней мечтой.

— Вы можете прийти к нам на матч. У нас свой стадион, который мы построили.

Я мысленно увидел ее, сидящую на деревянной трибуне нашего школьного стадиона. Она в белой пуховой шапочке и сером пальто (почему-то она представилась мне именно так). Она внимательно следит за игрой. Она бледнеет, когда мяч подкатывается к моим воротам. Вот наперерез мне мчится Комаров — это лучший футболист 218-й школы, у него 3-й разряд. Он один на один с вратарем. Сейчас он будет бить. Вратарь — это я... Ворота спасены... Ликование на трибунах... А я, поддерживаемый двумя защитниками, покидаю поле. Меня подбили. И она встает со своего места, бежит через все поле ко мне, не смотря на крики игроков и свист судьи. Мне стало очень жаль себя.

— Ладно, я, может быть, приду на ваш футбол,— сказала Инна.— Если будет время. Знаете, впереди восьмой класс.

Да, восьмой класс. Я уважительно покачал головой.

— У вас есть что-нибудь почитать? — спросил я.

— Я привезла Тургенева,— сказала она.— Мы в этом году будем его проходить.

Тут я почувствовал на минуту свое превосходство перед Инной. Я всегда презирал рекомендательные списки и никогда не читал то, что задано. Я читал больше. Но я не выдал своего превосходства. Я спросил у нее:

— Вы мне дадите Тургенева?

— Приходите ко мне вечером,— сказала она.— Я что-нибудь выберу.

Я ликовал. Мне захотелось тут же чем-то отблагодарить Инну за ее приглашение. Но я не знал, чем ее можно отблагодарить. Я сказал:

— Инна, хотите, я открою вам одну тайну?

Инна несколько смутилась. Я предложил ей следовать за собой. Я привел ее к недостроенному дому. Здесь было, как всегда, тихо, пустынно, сумрачно, и Инна с непривычки, по-моему, немного испугалась. Я показал ей склад папирос, провизии, рассказал о том, что мы здесь собираемся, и, конечно, рассказал о Гришке.

— Это тот, который к нам залез за мячом?

— Да, это он. Он замечательный парень, очень смелый и сильный.

— Это здорово, что ты хвалишь товарища, — сказала Инна. — У нас девочки редко говорят про подругу хорошо. Вообще с мальчиками лучше дружить, как-то надежнее.

Я с радостью отметил про себя, что Инна обратилась ко мне на «ты». Я даже растрогался от этой тишины, от тяжелого колыхания сосен, от запаха сырого струганого дерева, который я так люблю, от тихого голоса Инны. Мне захотелось ей сказать, что хорошо бы нам с ней стать друзьями. Но я постеснялся.

Я промолчал, хотя мне хотелось ей что-то сказать. Что, я даже сам не знал. Я тут же представил себе, что мы с Инной окружены врагами. Все наши уже погибли, погиб Гришка, погибли другие ребята, только мы с Инной остались в живых. У меня несколько последних патронов, а вокруг нашего дома не тихие сосны, а враги, вооруженные до зубов. И я защищаю Инну до последней капли крови. Я отстреливаюсь из пистолета, а одна рука у меня перевязана потемневшим от крови платком. Когда я все это представил себе, мне стало даже жарко от восторга и вдохновения. Я вскочил с места.

— Что с тобой? — Инна с изумлением смотрела на меня.

А вместо коварных и трусливых врагов сверху, с дерева, прямо на стенку дома прыгнул Гришка.

Мне сразу стало не по себе. Все мои видения исчезли, и я подумал о том, что поступил не очень-то по-товарищески. Я разболтал малознакомой девочке нашу тайну и сделал это без ведома Гришки.

Гришка соскочил со стены на землю и молча остановился. Он достал из кармана тоненькую папироску и, покрутив ее в руках, закурил. На нем была кепка-малокозырка, надетая задом наперед. Грудь его обтягивала тель-

няшка. Он был во всем своем блеске, во всем великолепии. Он стоял, широко расставив босые ноги в широченных штанинах, из дыр выглядывали загорелые и грязные колени. Он курил и молча смотрел мне в глаза. Он, наверное, очень презирал меня в эти минуты. Он презирал меня за то, что я привел эту девчонку сюда, в наше мальчишечье суровое логово, за то, что я так быстро и легко нашел с ней общий язык, за то, что я мог разговаривать с ней о книгах, за то, что я ходил в коротких, тщательно выглаженных штанах, в каких ходят мальчишки из интеллигентных семейств, когда им тринадцать лет. Он презирал меня, и я с мучительной остротой чувствовал его презрение. А мне так хотелось искупить свою вину перед Гришкой! Мне хотелось ему объяснить, что я это сделал без злого умысла, что я хочу, чтобы мы дружили вдвоем, я, Гриша и Инна, что я преклоняюсь перед Гришей, что я мечтал бы быть таким, как он, но все равно у меня это не получается.

— Вы что насупились, мальчишки? Может быть, мне уйти домой?

— Нет,— сказал Гришка.— Все в порядке.

— Ну, тогда пойдемте отсюда. Куда-нибудь, где интересно.

И мы вдвоем пошли к пруду. Всю дорогу я молчал. Я не говорил теперь о книгах. Я знал, что в этом Гришка слаб. Я предоставил ему инициативу. Я хотел, чтобы он проявил себя перед ней. Но он себя никак не проявлял.

— Вы знаете, Гриша, ваш товарищ так много мне говорил о вас,— сказала Инна.

— Спасибо ему,— буркнул Гришка.

И вот тут я на Гришку обиделся. В конце концов, чего он бесится? Что я ему сделал? Нам всем троим стало как-то неловко. Под ногами хрустели по-осеннему неживые листья, голые ветки царапали, преграждали путь. Лес стал совсем новым, в нем было меньше глубоких теней и пронзительного света, меньше маленьких тайн. Это был другой, осенний лес — тихий, голый, неяркий. Гришка шел впереди, раздвигая ветки, ныряя в кусты: он прокладывал дорогу. Инна шла за мной, и несколько раз, когда мы попадали в густой высокий кустарник, она протягивала мне руку. Я очень осторожно держал ее узкую теплую руку, и мне хотелось, чтобы кустарник был еще

гуще. Но, как назло, кустарник кончился, и мы вышли к пруду.

— Сколько кувшинок! — сказала Инна. — Какие замечательные кувшинки!

И, прежде чем я успел что-нибудь сообразить, Гришка молниеносно разделся и с отвесного берега кинулся в неподвижную воду с зелеными плавучими пятнами и ярко-желтыми кувшинками.

— Что вы делаете! Она же холодная, она же грязная! Здесь же не купаются! — с испугом и восхищением крикнула Инна.

Звук ее голоса придал мне сил. «Сейчас или никогда», — решил я. Чувствуя мгновенный горячий восторг, трепет и отчаяние, я разделся. Затем я подбежал к тому месту, откуда нырял Гришка, и животом тяжело плюхнулся в воду. Я не умел ни плавать, ни тем более нырять. Я летел вниз с ощущением упоения и острого страха. Я был готов в эту минуту умереть для нее, но все-таки мне хотелось остаться в живых. Мне было жалко себя и своих родителей. Я захлебнулся. Вода обожгла меня. Я стал кашлять, и мне захотелось кричать. Но я молчал. Потом я почувствовал, что могу стать на дно: к моему величайшему счастью, пруд был неглубок. И вот тут я испытал двойное ликование. Двойное оттого, что я совершил героический поступок, и оттого, что, наверное, не утону. Впрочем, на дне могли оказаться ямы. Но главное, что Инна-то не знает, глубоко в пруду или нет. Я отталкивался ногами от земли и руками делал движения заправского пловца. Получалось, что я плыл брассом. Меня беспокоило только одно: Гришка знал, что я не умею плавать. Он мог выдать меня и навсегда опозорить перед Инной. Но он не обращал на меня внимания. Он плыл и рвал для нее кувшинки. Я тоже стал рвать кувшинки. Потом Гришка вылез на берег. За ним выкарабкался и я. Он иронически оглядел меня с головы до ног.

«Сейчас выдаст!» — с замиранием сердца подумал я.

Но Гришка промолчал. И я простил ему все. Я простил ему его презрительный тон, его холодность по отношению ко мне. Я еще раз подумал о том, какой он прекрасный, великодушный человек. А ведь я на его месте, пожалуй, не удержался бы... И когда я вспомнил, как плыл ногами по земле, как притворялся, мне вдруг стало так стыдно,

что даже горло пересохло. Да, конечно, я достоин презрения!

А Инна ходила около нас, смотрела на нас с благодарностью и удивлением, нюхала кувшинки, пахнущие болотом, и повторяла:

— Как же это вы, мальчишки! Что я с вами буду делать? Ведь вы же заболаете воспалением легких. Ведь конец августа.

Она уважала нас одинаково, она объединяла нас в одно целое.

Потом мы возвращались домой. Гришка повеселел. Он сделал из стеблей кувшинок три свистульки и роздал нам. Он учил нас свистеть. Сам он свистел великолепно, с переливами, то оглушающе звонко, то задумчиво и нежно, точно вздыхая.

— У тебя хороший слух,— сказала Инна.— Ты, наверное, умеешь петь,— добавила она.

— Да нет, я просто так, балуюсь,— ответил Гришка.— У меня таких свистулек много: из березовой коры, из кувшинок, из камыша. Разные есть: одни с высоким голосом, другие басят... Разные.

— Ну, мальчики, давайте споем. В лесу здорово, наверное, поется,— предложила Инна.

Да, действительно в лесу пелось здорово. Только тем, кто имеет слух. А у меня не было даже намека на слух. Они пели, а я чувствовал себя посторонним. Они пели песню о Москве:

Нас улица шумом встречала,
Звенела бульваров листва...

Лес охотно принимал их песню, приветливо отвечал эхом, уносил их голоса в звонкую глубину. И я думал о том, как плохо чего-нибудь не уметь, когда это умеют другие.

Потом мы вышли из лесу на пыльные улочки поселка. Кончились песня, шорох ветвей, лесная тишина. Поселок показался особенно будничным и надоевшим.

— Приходите, мальчики, к нам в гости вечером,— сказала Инна.

— С удовольствием,— ответил я.

— Ладно... зайду,— подумав, согласился Гришка.

Вечером в очень торжественном настроении я отправился в гости. Инна встретила меня. Я прошел в глубь участка и увидел Гришку. Я был очень удивлен тем, что Гришка пришел раньше, чем я. Он забрался на крышу беседки и делал что-то в темноте.

— У нас испортилась проводка,— сказала Инна.— Хотели уже идти на станцию за электромонтером. Но вот Гриша решил попробовать.

Я подошел к беседке с деловым видом. Я начал помогать Гришке советами: ведь в школе мы уже проходили электричество. Но мои советы Гришке не понадобились. Через несколько минут свет загорелся. Гришка спрыгнул с крыши беседки.

К нему подошла Иннина мама и стала его благодарить, но Гришка смущенно пробормотал:

— Да ерунда! Я всем тут чиню проводку. Это дело пустяковое.

Потом мать Инны пригласила нас пить чай на веранде. Мы долго и скучно пили чай. Гришка сахару себе не положил. Он, видимо, считал, что это неудобно. И я мысленно представил себе, как ему горько и противно пить несладкий чай. Я потихоньку подсунул ему кусок сахару, но он отвел мою руку. Обычно Гришка ел смачно, чавкая, наслаждаясь едой. А здесь он втягивал чай маленькими бесшумными глотками.

Беседу с матерью Инны вел в основном я. Она задала мне несколько обычных вопросов. В каком классе учусь, где работают мои родители, первый ли год мы снимаем здесь дачу? Я обстоятельно ответил ей на все вопросы. Потом мы зашли в комнату Инны. Комната была очень маленькая. Я не заметил обычных девчачьих безделушек, только к абажуру была подвешена маленькая коричневая обезьянка с ленточкой.

— Это Манька,— сказала Инна.— Это чудесная обезьянка. Такая смешная.

Инна говорила о своей Маньке, как о живой.

— Моя Манька приносит счастье. Я ее всегда беру на экзамены. Когда Манька со мной — значит, пятерка.

— А без Маньки пара? — неожиданно спросил Гришка.

— Нет, почему ж,— улыбнулась Инна.— Без Маньки тоже не пропаду. Но с Манькой все-таки лучше.

— Надо будет и мне Маньку завести,— сказал Гришка.— А то по-русскому всегда сыплюсь на экзаменах.

— Да что ты? — с внезапным участием спросила Инна.— Такой предмет. Если тебе нужна помощь, я тебе всегда помогу. Ты только позвони.

— А, все равно. Ничего у меня не выходит. Хочу в фезеуху поступить. Там, по крайней мере, руками работаешь, а не языком.

— Человек должен преодолевать трудности,— строго сказала Инна.— Тебе нужно заниматься. А то — фезиуха. Что это за фезиуха такая?

— Школа фабрично-заводского обучения,— ответил Гришка.— ФЗО. А потом, как же вы мне поможете, если вы в Москве, а я здесь? (Он почему-то до сих пор называл Инну на «вы».)

— Ах, да,— протянула она разочарованно. Но потом, точно что-то важное обдумав и решив, добавила: — Но ведь, в конце концов, можно сесть в электричку и приехать. Ты ведь уже самостоятельный. Конечно, ведь это нетрудно для тебя.

В этой ее фразе было признание Гришкиной взрослости, самостоятельности, умелости. Вот что значит исправить электричество! И я почувствовал некоторую досаду. В конце концов, я тоже взрослый. Я ненамного моложе Гришки. Да и разве дело в возрасте? Надо ей доказать свою самостоятельность. Но пока что я решил перевести разговор на другую тему. Я увидел на ее столике «Вешние воды» Тургенева, книгу, которую я очень любил.

— Ты читаешь «Вешние воды»? — спросил я.

— Да. Мне очень нравится.

— И мне нравится. Это одна из моих любимых книг. А тебе, Гришка, она нравится? (Это была маленькая месть. Я-то был уверен, что Гришка не читал ее.)

— Нет, мне не нравится,— сердито сказал Гришка.

— Почему? — еще более сердито спросил его я.— Почему тебе не нравится?

Гришка сначала покраснел. Затем быстрым и твердым взглядом оглядел меня и сказал нарочно громко:

— Потому что я ее не читал.

Да, Гришка все-таки молодец! Он хотел соврать при Инне. Да что ему стоило соврать? Кто бы стал проверять его? Но он все-таки нашел в себе силы сказать правду.

— Чудак ты, — растроганно сказал я. — Замечательная ведь книга.

Гришка ничего не ответил. А Инна внимательно посмотрела на Гришку, потом на меня.

— Хочешь, я прочту тебе кусочек? — сказал я.

— Не надо читать в комнате. Эту книгу надо читать там, в саду, на участке.

Мы вышли на участок, сели на скамейку. Я листал книгу, выискивая свои самые любимые места. Уже строчки эпиграфа:

Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды,
Промчались они! —

гипнотизировали меня необъяснимой своей грустью. Я сразу представлял себе старика, лохматого, с набухшими под глазами мешочками, перебирающего пожелтевшие хрустящие листы старых писем. Этот зрительный образ навсегда слился к тому же с популярной у нас на даче песней Шульженко «В запыленной связке старых писем». Это был довольно странный сплав — Тургенев и Шульженко. Но во всяком случае каждый раз, когда я читал эти строки, едкий и в то же время неизъяснимо приятный комоч сладкой печали подкатывался к моему горлу. А тем более сейчас, когда на меня внимательно смотрели продолговатые, блестящие глаза Инны. Я чувствовал, что вот-вот мой мужественный голос дрогнет, а из глаз польются слезы. Но я все-таки овладел собой и читал неестественным горловым голосом.

Странная вещь! Джемма удивительно походила на Инну. Как и у Инны, у нее был «ровный и матовый цвет лица», как и у Инны, у нее были серые глаза, «великолепные, торжествующие». И я понял, что она и есть Джемма, настоящая Джемма, которую я давно знал и которую первый раз в жизни увидел.

А кем был я? Этого я еще не решил. Это было неважно. Может быть, я был Саниным... Нет, пожалуй, я был слишком молод для него. Мне не хотелось в те минуты думать о своем месте в «Вешних водах»; я думал только о ней. И я не смог удержаться. Холодея от сознания чего-то недозволенного, от внезапно нахлынувшего счастья, запинаясь, я сказал:

— Знаешь, кто ты?

— Нет, — ответила она тихо.

— Ты Джемма! — Я сказал это, и желание необыкновенного поступка, не такого, как сегодня утром, а настоящего, прекрасного, чтобы погибнуть во имя ее, овладело мною!

Но я не успел совершить свой героический поступок. Гришка, забытый мною, сидел не дыша, напряженными, сухими глазами глядя то на меня, то на нее. Он перехватывал каждое, еле уловимое движение ее глаз в мою сторону. Потом он молча рванулся с места, стгоряча, сослепу не нашел калитки и прыгнул на забор.

Фигура его метнулась над зубчатой гранью забора, треснула материя — то рвалась Гришкина новая рубашка, — резко и как-то беспомощно взмахнули его сильные руки, — и он исчез.

Дачный сезон кончился.

На узеньких, заросших улочках появились глубокие прамы от колес грузовиков. Все разъезжались. Дачи забывали. Внезапно ослепшим, заколоченным окнам уже не грозил шальной удар футбольного мяча. Каникулы прошли.

В эти дни я праздновал день своего рождения. Мне подарили часы. Узенькие немецкие часики. Их прочность никто не обеспечивал. Они были негарантийные. И поэтому я со страхом и удивлением прислушивался к их тихому младенческому голосу, который, как мне показалось, звучал из последних сил и вот-вот должен был прерваться. Но он не прерывался, и я был горд за этот хрупкий организм, который все-таки работал, несмотря на кажущуюся непрочность.

Мать Инны уехала с дачи, а сама она задержалась на день, специально, чтобы прийти на день моего рождения. В тот же вечер она должна была уехать в город.

Инна пришла ко мне в светло-сером костюме, который плотно облегал ее фигуру. От нее слабо пахло духами, волосы были уложены короной, и мне она казалась очень взрослой, очень независимой и немного чужой, как в день нашего знакомства.

В первый момент, когда она пришла, мне стало даже

неловко называть ее на «ты», и я старался обходиться без местоимений. Она протянула мне какой-то сверток. Я поблагодарил ее и сделал вид, что меня вовсе не интересует содержимое свертка. В серую зернистую оберточную бумагу было завернуто что-то плоское. Это могла быть либо книга, либо коробка конфет. «Только бы не конфеты,— думал я.— Ведь на коробке конфет не делают надписей».

Я на минуточку убежал, торопливо сорвал бумагу и запрыгал от радости. Это была книга. Это был серый коленкоровый Джек Лондон. Избранное. Но пусть это была даже «Муха-Цокотуха». Неважно. Главное — надпись. Надпись от Инны. Я с некоторым страхом перевернул обложку и увидел написанное круглым, старательным почерком на подлиннованной бумаге:

«В день рождения и в память дачно-волейбольной дружбы. Инна».

Эта фраза расстроила меня. Значит, наша дружба была только «дачно-волейбольной».

Поздно вечером Инна должна была ехать в Москву. Ее хотел проводить мой отец. В такое позднее время меня боялись отпустить на станцию. Станция была довольно далеко, и в те первые послевоенные годы в нашем глухом поселке нередко совершались грабежи. Я взял с собой большой перочинный нож на всякий случай. Мы ушли тихо, ничего никому не говоря.

Мне хотелось взять Инну под руку, но я не решался. Я говорил себе: «Вот дойду до того забора и возьму». Но, когда мы доходили «до того» забора, рука моя цепенела.

Мы молчали. Вдруг Инна сказала:

— А жаль все-таки, что Гришка не пришел.

— Жаль,— ответил я.

Мне было действительно жаль, что Гришки не было у меня на дне рождения, но сейчас мне не хотелось думать ни о Гришке, ни о ком другом. Мне хотелось думать только об Инне. Я с внезапной, пронзившей меня остротой понял, что, быть может, вижу ее в последний раз.

— Мы ведь увидимся с тобой в Москве, Инна? — сказал я неуверенно.

— Да, конечно,— ответила она.— Мы обязательно увидимся.

«Где там! — с грустью подумал я.— Небось забудешь меня уже через два дня. А может, и не забудешь,— попы-

тался я себя успокоить. — А может, и увидимся. Конечно, увидимся. Обязательно увидимся». И от мысли, что я с ней обязательно увижусь, мне стало веселее. Я даже неожиданно решился на отчаянный шаг — взял ее под руку. Сделалось это как-то само собой, без предварительного обдумывания. И она не выдернула руку.

Я чувствовал себя счастливым. Я охранял ее. Я нес за нее ответственность. Но вот я даже не увидел, а скорее почувствовал, что за нами кто-то неотступно идет. Я решил не оборачиваться и не думать об этом. Надо громко разговаривать с Инной и не обращать на это внимания.

Я говорил об учительнице физики, которая ко мне придирается, о вратаре Хомиче и еще о чем-то, но думал в это время только о том, кто шел сзади, не догоняя и не отставая от нас, умело пристроившись к ритму наших шагов, из темноты внимательно глядя на нас чужими, враждебными глазами.

Мне уже хотелось, чтобы не было этого мучительного выжидания, чтобы он скорее напал. Я испытывал радость, что она увидит, как я гибну, защищая ее. Но порой во мне поднималось тошнотворное темное чувство страха. Вязкой, дурной волной оно захлестывало меня, и руки мои слабели. Сам себе я казался маленьким, беспомощным и трусливым. Я жалел, что взялся провожать ее, что ушел от родных людей, к которым, может быть, уже не вернусь никогда. Я хватался за свой нож, и его металлический холодок успокаивал меня.

К моему изумлению, Инна поняла мое состояние. Когда стали видны тусклые, но уже близкие огни станции, Инна вдруг крепко сжала мою руку и сказала:

— Ну, все. Я пришла. А ты иди домой. Твои беспокоятся. И я тоже беспокоюсь, как ты дойдешь один. Ведь здесь опасно! — Она сказала это тоном матери или старшей сестры.

И я подумал, насколько она все-таки взрослее меня. Мне стало обидно.

— Нет, провожу тебя до конца. До самого поезда. Я не хочу идти домой, — сказал я.

— Ты сейчас же пойдешь домой. Здесь уже светло и не страшно. Здесь есть люди.

— Я буду ждать поезда.

— Ты не должен так поздно возвращаться. Иди...— Она легонько подтолкнула меня.— Ну, иди же.

Она ласково и снисходительно смотрела на меня. Потом она переменила тон.

— Нет, я прошу тебя, иди домой. Ведь в самом опасном месте я не просила тебя уйти. Ты мне был нужен. Я ничего не боялась с тобой... А теперь все... Теперь уже совсем не страшно. Ты должен идти.

Я стоял не двигаясь. «Нет, я не уйду,— думал я.— Я ни за что не уйду до самого поезда. Когда погаснет зеленый огонек, тогда я уйду». С другой стороны, уйти было легче. Она ведь просила меня об этом. Ведь действительно сейчас я уже не нужен. Сейчас все позади. Ох, как мне хотелось уже преодолеть это проклятое, гнетущее пространство! Как мне хотелось лежать на своей раскладушке у себя дома!

— Ну, до свиданья. Иди. Спасибо тебе... Мы еще увидимся с тобой... Мы будем с тобой гулять по Арбату... Иди... иди... Да-да, мы обязательно увидимся.

В моих руках были горячие ее руки. Она мягко, но настойчиво высвобождала их.

И я сдался. Я устал от борьбы с самим собой. Мне хотелось домой. Я повернулся и пошел... Потом через несколько шагов я остановился. Я подумал: может быть, догнать ее? Я посмотрел ей вслед. И я заметил стремительную, рванувшуюся по направлению к ней тень.

Я застыл на месте. Это был тот, кто шел за нами. Это был наш преследователь.

Тень скользнула по серой обочине слабо освещенной дороги. И уже в желтом свете станционного фонаря я увидел, как, догоняя Инну, перескакивая через ступени, вбегает на платформу Гришка.

С того дня прошло лет шесть. Я окончил школу, поступил в университет. В конце лета я приехал с первой своей практики. Я работал в Ярославской области в районной газете. Я привез несколько своих первых заметок, тщательно вырезанных из этой газеты. По почте я получал гонорары в размере тридцати — сорока рублей. Мне нравилось деловое и рычащее слово «гонорар». Разве дело было в деньгах! Мне кружил голову каждый номер, све-

жо и сильно пахнувший типографской краской, номер, в котором, такая отчужденная от меня, стояла напечатанная моя фамилия. Я чувствовал, что и мой труд вливается в труд моей республики... Впечатления переполняли меня. Я был счастлив оттого, что мне девятнадцать лет, оттого, что я живу в такое время и в такой стране. Я полемизировал с неведомыми своим недоброжелателями, не верящими в меня. Я сочинял стихи:

Мне говорят: ведь ты не видел свет!
Не сложишь песню ты, уж как там не малюй.
Я все же ее сложу. Мне девятнадцать лет.
И я огромный мир, как жизнь свою, люблю.

Это был первый год освоения целины. Весенний ветер молодой, оживающей земли овеял и меня, хотя мне не пришлось побывать на целине. Я ехал в эшелоне с ребятами, возвращающимися с целины после уборки урожая. Я подружился с ними, выучил их песни и настолько проникся атмосферой их жизни, что мне казалось, будто я и сам работал там. Чем-чем, а недостатком воображения я никогда не страдал.

После возвращения с практики я заехал к своему приятелю, жившему на даче. Я его не застал. Пришлось возвращаться в город. Вагон был пуст, на полу валялись измятые в гармошку стаканчики из-под мороженого, билеты, окурки. На платформах мелькали одиноко прикорнувшие на длинных, толстоногих скамьях фигуры с мешками, баульчиками, навстречу бежали подслеповатые станционные буфетки, возникали и исчезали ремонтники у стрелки. Все такое знакомое с детства, родное, позабытое... Мною овладело привычное чувство пассажира: желание выйти на одном из полустанков. И я действительно вышел на одном из них, на самом дорогом для меня.

На меня дохнуло запахом вечера, сосны, нагретой земли, давно не видевшей дождя. Стояли на дачных участках зачехленные машины. Светили желтым огнем окна дач, и казалось, что там живут как-то особенно ладно и хорошо.

Где-то тихо, приятно повизгивала пластинка — словом, был субботний вечер дачного поселка. Я вспомнил вечера на Ярославщине, в районе Данилова. Жирная корич-

несвая грязь, где впору пробиться только тягачу и где от-важно идут автоколонны, груженные кирпичом, где горят зеленым глазком в темноте лампочки подъемных кранов, где нет слова «электричка», а есть слова «попутная машина». Вечера, подчиненные горячему ритму стройки, такие непохожие на вечер этого покойного, устроенного мирка.

А здесь было так же, как и шесть лет назад. Хотя не совсем так.

Я убедился в этом, когда захотел найти наш недостроенный дом. Вместо него был целый новый поселок аккуратных беленьких домиков-близнецов.

Да, здесь тоже шла своя стройка, маленькая, скромная, чистая, пахнувшая не кипящим бетоном, а стружкой и смолой. Эта стройка крошечным, но необходимым ручейком вливалась в огромную реку большого строительства. И я с внезапным уважением оглядел домики новорожденного поселка.

Постепенно я забрел на улицу Парижской коммуны. Не было на ней знаменитых коз Любы и Розы, наша дача потемнела, пообветшала. А в доме напротив жила когда-то худенькая и стройная восьмиклассница, казавшаяся мне очень взрослой. За этим забором жила Джемма моего детства.

А может быть, она уже не жила здесь. И, недолго раздумывая, я постучался в калитку. Тихо... Никто не открывал. Волнуясь, придав лицу выражение неестественно-официальное, я ждал у калитки. Прошуршали в траве шаги. Но это были не те шаги. Это были шаги пожилых, никуда не торопящихся ног, обутых в шлепанцы.

Очень долго возились с задвижкой. Наконец, открыли.

Я увидел ее мать. Она стала меньше ростом и заметно постарела. Наклонившись от волнения к самому ее уху, как будто она была глухая, я сказал:

— К Инне можно? К Инне...

«Сейчас скажет: «Инны нет», — думал я. Но она промолчала и сделала жест рукой: «Пройдите». Я пошел по расчищенной аллейке и, прежде чем дошел до дома, увидел высокую девушку, нарядную, в прозрачной кофточке. У нее были те же светлые, холодноватые глаза. У нее были темные подстриженные блестящие волосы, которые ка-

зались еще темнее от этих глаз. Вся она была та же и удивительно новая.

— Здравствуй, Инна,— сказал я.— Я закинул мяч на ваш участок, решил его попросить. Неудобно же лезть через забор.

— Здравствуй, Сережа,— ответила она.— Только ты, наверное, ошибся. Ты, может быть, закинул его на соседний участок. Но тем не менее проходи.

Она улыбнулась, сначала чуть иронически, потом приветливо, широко.

— Какой ты стал...

— Какой?

— Не знаю... Большой какой-то... Важный.

— И ты какая-то стала.

— Какая?

— Красивая. Уверенная.

— Красивая я всегда была.

— Хотя правильно. Ты ведь всегда была красивая. Я забыл.

Я поднялся на террасу их дома и увидел сидящего за чайным столом парня. Он был широк в плечах, коренаст, подстрижен бобриком, с карими, немного сумрачными глазами. Одет он был в полосатую рубашку и широкие штаны-клеш, такие уже мало кто носил. Он курил. Он курил как-то очень знакомо, взхлеб покашливая,— так мог курить только один человек. Я остолбенел.

— Ну, не мне вас знакомить,— сказала Инна.

Я механически, как заведенная кукла, подошел к нему, протянул руку, сказал:

— Здравствуй, Гриша.

Он крепко ее пожал, без всякого удивления, внимательно меня оглядел (будто он ждал меня) и сказал:

— По-моему, изменился мало. Только стал высокий, модный. И в длинных брюках. А длинные брюки тебе идут.

Это была шутка, и полагалось смеяться. Инна и ее мама засмеялись. Но я не засмеялся.

— Ну, уж Гришка скажет! — с восхищением проговорила Инна.

Это была не только шутка. Это было желание снова приблизить меня к тому неумелому слабому мальчику в коротких штанах, который уже давно не существовал.

— Нет, ты ошибаешься, Гриша. По-моему, я изменился. Впрочем, со стороны виднее.

В моих словах, видно, открыто глянула обида, потому что Инна с удивлением посмотрела на меня и поспешно сказала с неожиданной мягкостью:

— Ну, расскажи, как ты, где ты? Нам же с Гришкой интересно.

«Нам с Гришкой,— подумал я.— Может, они поженились? Нет. Тогда она не была бы такой парадной. Просто он к ней приехал на воскресенье».

— Рассказать, как я... Да много рассказывать.

— А ты все-таки расскажи. Мы ведь не торопимся,— вступился Гришка.

— Пожалуйста,— сказал я.

И я начал рассказывать. Сначала я говорил сухо, сдержанно. Потом увлекся и использовал в своем рассказе весь собранный материал. Это было нечто вроде отчета по практике. А ведь всякий отчет по практике требует некоторой приукраски. И я решил рассказать и про целину. Знай наших! А то сидите здесь, жизни не видите, а еще иронизируете. И я начал говорить о том, какие в Кулунде дороги, как трудно было налаживать жилища, как люди выходят во двор, держась за канат, чтобы не сбило ветром.

— А ты там был? — спросил Гришка.

Я колебался. Плевать в конце концов, подумал я. Журналист имеет право на вымысел. Надо им показать, что я по-настоящему изучил жизнь.

— Был,— сказал я.

— Сколько? — спросил он, взглянув на меня.

— Некоторое время,— сказал я.

— Ну, сколько же?

— Ну, три недели.

Он ухмыльнулся и промолчал.

— Понимаешь,— сказала Инна,— Гриша вернулся с целины неделю назад. Он провел там все лето. Он работал на комбайне...

Я почувствовал, что снова бросаюсь в грязный пруд и плаваю ногами по дну. Мне стало стыдно, как много лет назад. Только, пожалуй, это был другой, более мучительный, невидимый постороннему глазу стыд. Я замолчал. Я понял, что зря пришел сюда. Мне захотелось уйти.

А Инна оживилась, она улыбалась мне, она говорила, что я действительно очень вырос, что я выше Гришки (подумаешь, заслуга), что я молодец, что зашел к ней. Гришка по-прежнему молчал. Потом мать Инны позвала его. Она попросила его спуститься в погреб за маслом.

«Да, он не последний человек в этом доме», — подумал я. Потом я безучастно спросил Инну, где она учится.

— Я учусь в вечернем механическом и работаю на заводе. На дневной не поступила. Срезалась.

— Молодец, — вяло сказал я.

— Молодец, что срезалась?

— Нет, что работаешь. Это очень нужно сейчас.

— Смотри, ты совсем как передовица в нашей много-тиражке.

— А что, я и буду писать передовицы.

— Ну пиши, только не очень длинные.

— Ладно, — уныло согласился я.

Почему-то я вспомнил вдруг о Маньке, о маленькой коричневой обезьянке под абажуром. Ее не было.

— Где Манька? — спросил я.

— Маньки нет, — ответила Инна.

— Где ж она?

— Она потерялась. Ее потерял Гришка.

— Ах, Гришка, — сказал я. — А где твои косы? Тоже потерялись? Тоже Гришка?

— Их нет... Подстриглась... Но только назло Гришке. Он был против.

«Да, ничего нет, — подумал я. — Ни кос, ни Маньки. И Джеммы тоже нет. Хотя, может быть, она и есть. Только она не моя Джемма. Она Гришкина Джемма».

Я встал и протянул ей руку.

— Надо идти, — сказал я. — Поздно. Я не успею к поезду.

— А ты не боишься... один?

— Нет. У меня есть опыт.

— Это хорошо.

Я вышел, кивнул Гришке, попрощался с Инниной матерью. Инна проводила меня до калитки.

— Ну, мы ведь увидимся в Москве? — сказала она. — Мы обязательно увидимся.

— Да, конечно, — ответил я.

— Мы увидимся. Обязательно. Мы встретимся где-нибудь у Арбата.

— До свиданья, Инна.

«Хорошо, что мы никогда не увидимся»,— подумал я. А через десять минут я уже был в вагоне электрички. Электричка мягко тронулась.

«Хватит,— сказал я себе.— Завтра же начну новую жизнь. Хватит лгать, хватит трепаться. Я тоже буду настоящим, черт возьми, назло им всем. Я больше никогда не буду плавать ногами по дну... Никогда!»

Мне стало несколько легче от принятого решения.

А электричка плавно и быстро увозила меня от маленькой платформы, заплесанной семечками, от дачного полустанка, от ее дома, от мелькнувшей и погасшей в темноте станции первой любви...





БАЛЛАДА О ВАЛЬКЕ ЗЫКОВЕ

Когда была весна, когда наступал Первомай и мы собирались во дворе нашей школы и распределяли знамена и транспаранты, а флаги, развернув гудящие полотнища, рвались из наших рук в небо и вокруг трепетали красные и синие шары, когда могуче гремели оркестры, — в эти минуты мне хотелось быть рядом с Валькой Зыковым.

Когда приходило 7 Ноября и мы шли по Чистым прудам, а тихий бульвар вдруг становился островом, который обтекало теплое человеческое море, и на это живое волнующееся море, на его быстрые маленькие волны — на наши головы падал первый, еще не зимний какой-то снег, а мы пели «Наш паровоз, вперед лети», и весь медленный путь сквозь улицы и переулки к Красной площади казался бурным и радостным, как бег песенного паровоза, — в эти часы мне хотелось идти рядом с Валькой Зыковым.

Ох, как мы пели! О, как нам пелось в те минуты. «Это есть наш последний...» Нет, мы знали, что это еще не

последний, что это даже не первый наш бой, но слова этой единственной, удивительной песни словно магнетизировали нас, наступало какое-то слепящее забытие, когда каждый, казалось, мог бы броситься на амбразуру дзота, если б это потребовалось стране, когда даже Лешка Слепнев, прогульщик и шпана, вырастал и становился если не человеком, то кандидатом в человека... О, как немыслимо сладостны и грозны были эти минуты, потому что в наших неокрепших сердцах далеким и тревожным гулом звучала мелодия революции. И я был счастлив, что рядом со мной Валька Зыков, человек шестнадцати лет, строгий, твердый, серьезный, не знающий, что такое человеческие слабости, не ведающий компромиссов...

И сегодня я хочу рассказать о нем, о моем товарище Вальке Зыкове. Я сидел с ним за одной партой, я любил его, я поклонялся ему, и только в отдельные минуты я его немножечко ненавидел. Когда ему исполнилось тринадцать лет, в этот исторический день он показал мне написанное им заявление, адресованное неизвестно кому, о том, что с этого дня он берет на себя обязательство никогда не врать. Я отнесся к этому заявлению скептически и недоверчиво. «Во-первых, это невозможно,— сказал я ему.— Во-вторых, это неинтересно». Он посмотрел на меня светлыми, спокойными близорукими глазами первого отличника и не унизился до ответа. В классе о Вальке говорили с уважением: «Идейный». У нас было много «идейных», но Валька был особенно «идейный». Впрочем, иногда он позволял себе безыдейные поступки: играл в баскет, в лапту, в футбол, а иногда даже в «распиша». Однажды Валька Зыков прогулял. Обычно нас спрашивали, почему мы отсутствовали. Каждый врал как мог. Я, например, обычно кого-нибудь встречал или провожал: то в командировку уезжал мой отец, то уезжала куда-то мать, то улетала срочным рейсом моя неугомонная бабушка.

— У тебя не семья, а подвижной состав,— вздыхала классная руководительница и отмечала в журнале: «Отсутствовал по уважительной причине».

У других ребят: а) кто-нибудь болел, б) был потерял ключ, и они не могли уйти из дому. Но вот классная руководительница обратилась к Вальке:

— Что случилось с тобой, Зыков?

Мрачно, гробово стукнула доска парты, волны бешеного шепота захлестали по классу. То Вальке подсказывали надежные и правдоподобные причины... Валькины глаза были печальны и ясны.

— Что случилось, с тобой, Зыков? Может быть, ты переутомился, плохо себя чувствовал? — подсказывая ему выход, тихо и сочувственно говорила учительница.

— Нет, я не был болен, — твердо отвечал Зыков. — Я был полностью и абсолютно здоров.

Он задумался на секунду и дрогнувшим, но громким голосом произнес:

— Я прогуливал.

Стон недоумения и отчаяния пронесся по классу: а-ах! И классная руководительница проговорила проникновенно и устало:

— Ты правдивый мальчик, Зыков. — И мелким четким почерком она поставила в журнале: «Отсутствовал по неуважительной причине».

Когда после уроков мы возвращались домой, Зыков шел впереди нас одинокий и скорбный, как Джордано Бруно. А мы шли гурьбой и обсуждали его поступок, и кое-кто из самых хитроумных и дальновидных наших учеников, хитро и весело подмигивая, говорил:

— Чудаки... Это особый такой прием. Валька знает, что он делает... Он своего добьется.

— Да брось ты, — говорил я. — Просто Валька такой... Просто он очень идейный.

Я верил Вальке. Валька был моим рыцарем правды, всегдашним укором моей совести... Однажды я «сыпался» на экзамене по истории, утопал в пучине дат и событий и, утопая, я кинул Вальке белый флаг, SOS, я взмолился о помощи. Я знал, что он изучил историю назубок. Он читал Маркса, бредил Спартаксом и французской революцией, он цитировал Марата и показывал нам картинку, где его убивает в ванной какая-то ужасная женщина. Он был влюблен в Дзержинского и хорошо знал биографию Артема, он мог спокойно перечислить всех генералов 1812 года и всех дважды Героев Отечественной войны.

— Подскажи, Валька, — умирая, прошептал я.

И тут я вспомнил: это же Валька Зыков, не знающий компромиссов... Этот разве подскажет! Я безнадежно и устало посмотрел на него. Лицо его мучительно искрив-

лось. Он страдал. Он был слишком правдив, чтобы под-сказывать, и слишком добр, чтобы дать мне утонуть. И он мучился, Валька Зыков, зажатый в тисках своей принци-пиальностью и своей добротой.

— Ну-с, в каком же году произошло это знаменатель-ное событие? — устало сказала преподавательница исто-рии.

— Действительно, в каком же году оно произошло?!— риторически произнес я и развел руками. И тут я увидел, как разверзлись побледневшие уста моего друга, как дрогнули его непримиримые губы. Прерывающимся шепотом он произнес дату. Я был спасен.

После экзамена я кинулся к нему. Я хотел его обнять, я хотел сказать ему самые прекрасные слова. Он отстра-нил меня твердой рукой, не принял моей благодарности. Он ушел, гордо подняв неширокие плечи, ушел потому, что не смог соблюсти своих принципов и подавить свою доброту. И я понял, как я был жесток, поставив его перед этим выбором...

А потом мы выросли. Валька Зыков кончил школу, поступил в институт. Мы стали с ним видеться очень ред-ко. Иногда, когда я поздно возвращался домой, я видел около своего подъезда две темные фигурки, стоящие на ступеньках, в одной я угадывал Вальку, в другой девушку, живущую в моем доме, на которую мы с Валькой всегда смотрели как на ребенка. Она была моложе нас на три класса и, как мне казалось, на целую эпоху... И вот нате вам — Валька Зыков стоит у нашего подъезда, у ее подъ-езда, стоит, как часовой, которому не уйти до рассвета со своего поста.

— Здравствуй, Валька Зыков,— говорю я. «Здравст-вуй, побежденный рыцарь без страха и упрека»,— добав-ляю я мысленно.

Он молча кивает мне и поворачивается к ней. Я про-хожу в подъезд, я закрываю дверь. Мне идти, им стоять — у каждого своя судьба...

Но вот была последняя институтская наша весна, и я тоже загулял, закружился в весенних моих улицах и вновь встретил Зыкова, отстоявшего свой трудный пост у подъезда. И мне захотелось вдруг вспомнить наше дет-ство, нашу дружбу, поговорить с ним, как бывало.

— «К нам пришла любовь, и стало светлей...» — про-

пел я и засмеялся.— Так, что ли?.. Ну, здравствуй, Валька Зыков... Проводил свою?

— Да,— сказал Зыков, и лицо его сделалось твердым, как лицо Гоголя на новом памятнике.— Больше вопросов нет?

Валька Зыков не любил таких разговоров. Он их просто терпеть не мог. Еще несколько лет назад, когда ему было, наверное, четырнадцать, он сказал: «Мы, мужчины, не должны болтать об этом».

— Мы, мужчины, не должны...— поддразнил я его.

— Не должны,— улыбаясь, сказал он. Глаза у него потеплели.— А я, понимаешь, завтра уезжаю.

— Надолго?

— Навсегда, наверное,— сказал он.

Я не стал приставать к нему с расспросами. Он ведь не любил распространяться о своих делах. Зачем же в последний вечер я буду делать ему неприятное?

— Ну до свиданья, Валька,— сказал я.— Я тебе желаю только одного — счастья. Этого я тебе желал всегда.

— Я знаю,— тихо сказал он и задумался.

Мне захотелось его обнять, наговорить ему всяких жалких слов. Но на то он и был Валька Зыков, что с ним нельзя было этого делать. Он презирал сентименты.

Уже позднее я узнал, что он уехал в один из глухих районов Восточной Сибири учительствовать. Когда я сказал об этом одному из наших общих приятелей, то услышал давнюю полузабытую фразу:

— Валька Зыков знает, что он делает... Он своего добьется.— И говоривший это хитровато и понимающе усмехнулся.

Я знал, что это не так. Я понимал, что Валька знает, что он делает, но не в том смысле, в каком говорил мой собеседник. Но когда через некоторое время я узнал, что Валька перешел на руководящую комсомольскую работу, я с удовольствием и азартом подумал: «Вот Валька теперь начальник, ходит в сапогах, во френче, ездит на своем «газике», говорит мужественным голосом: «Я считаю, товарищи...» Я думал об этом с радостью, с теплотой. Мне хотелось, чтобы Валька мчался на своей вездеходной машине, чтобы он руководил, чтобы он сидел в своем деловом маленьком кабинете, чтобы он усталой, но крепкой

рукой гасил пулеметные очереди телефонов, вспыхивающие каждую минуту. Я думал о нем с какой-то неведомой мне тревогой, гордостью и заботой. Потом я узнал, что его перевели на целину, в один из новых районов, и снова обрадовался — там был сейчас передний край, там и место Вальки.

В одной из своих поездок по Казахстану я решил во что бы то ни стало разыскать его. Я представил себе, как я войду к нему в кабинет и спрошу: «У вас приемный день, товарищ Зыков?» И он улыбнется серыми глазами и скажет: «Вообще-то нет, но для старых друзей...»

И я буду сидеть в кресле около его стола, а он будет быстро подписывать бумаги и разрешать по телефону ряд наиболее важных вопросов. Он будет энергичен, весел и властен, как бог, как молодой комсомольский бог районного, а может, и областного масштаба. И с улыбкой я буду вспоминать фразу, пущенную нашим одноклассником: «Валька Зыков, он знает, что делает».

Но встретиться нам пришлось по-иному. В целинный совхоз я приехал ночью. Маленький, наспех сколоченный дом приезжих, один из первых домов поселка, был забит людьми. Спали на полу, на матрацах. Сон командировочных был музыкален; они посвистывали, издавали рулады, а порой даже что-то напевали. Днем им было не до песен, днем они ругались, спорили, доказывали то, что надо доказать. И только ночью они могли позволить себе эти тихие музыкальные нежности. Звучало это покойно и баюкающе, и становилось печально на душе оттого, что тебе не удастся вот так же попеть во сне.

— Все места заняты. Не знаю, куда вас положить, товарищ, — озабоченно говорила девушка, «директорша» дома приезжих.

Вдруг на полу шевельнулась чья-то фигура. Сонный, придавленный голос сказал:

— Давай, парень, на мое место.

Удивленный этим неожиданным великодушием, я стоял молча, пытаясь хотя бы разглядеть своего невидимого в сумраке собеседника.

— Мне все равно не спать, — сказал он и чуть покопшился, словно снимая по отдельности сон с каждой своей руки и ноги. Потом он надел сапоги, встал, стараясь не шуметь.

— Валька,— громко зашептал я, не веря еще своему счастью.— Зыков, проклятый. Так я ж ведь тебя ищу по всей целине.

Я кинулся к нему на шею, забыв железную повадку моего друга. И почему-то не отстранился Зыков, не назвал это «телячьими нежностями».

— Размягчился я к старости, брат,— тихо, смущенно пробормотал он.

— Просто чуть-чуть приблизился к нормальному человеческому облику.

Он объяснил, что мне надо спать, а ему еще надо кое-что поделывать и когда он будет уезжать, то разбудит меня. И он ушел. А я лег, но никак не мог заснуть. Я боялся упустить Вальку Зыкова. А примерно через час я встал и увидел его. Он сидел в коридоре на каком-то допотопном табурете, перед ним стояла керосинка (движок подстанции уже выключили), он что-то писал.

«Наверное, какой-нибудь отчет пишет»,— подумал я. Но только я не видел, чтобы так писали отчет. Он писал как-то страстно, бормоча какие-то неведомые мне бессвязные слова, так пишут стихи: с яростью, с восторгом, с тоской. Так пишут стихи — так не пишут отчеты.

Я никогда не видел таким Вальку Зыкова. Он писал, и отсветы керосинки колебались, темнели и светлели на его гладко выбритых щеках.

— Ты пишешь стихи, Зыков? — недоуменно сказал я.

Он нервно повернулся ко мне и отодвинул свои писания.

— Нет, это просто письмо,— быстро сказал он.— Важное для меня письмо.

— Добавь еще: деловое письмо,— сказал я.— Ну, соври, пожалуйста... Ну, соври, пожалуйста, немножко. Врать ты научился?

— Нет, не научился,— сказал он.

Так я и не узнал, что это за письмо. Наверное, трудное. Может быть, отчаянное, может быть, последнее. Кто его знает, Вальку? Он ведь не любил об этом.

— Ты не женат, Валька? — спросил я.

Он отрицательно помотал головой.

Мы вышли из дому. Степь была уже не ночная, но еще и не утренняя, голубовато-серая, предрассветная, очень большая и очень тихая степь. И уже не было звезд. Небо

светлело, а ковыль был в росе. И весь мир был не яркий, не солнечный, а тихий и предрассветный. И мне захотелось спросить Вальку Зыкова: счастлив ли он? Но, в первых, я не решился бы, а во-вторых, затарахтел грузовик, а такие вопросы задают только в тишине. Грузовик затарахтел и почему-то подъехал к нам, заляпанный грязью, остроугольный, древний грузовичок.

— Ну, брат, пора, а воспоминаниям предадимся потом.

— Когда? — спросил я.

— Когда-нибудь, когда у нас будет поменьше дел.

— А кто ты есть, Валька Зыков, что за тобой посылают этот роскошный «кадиллак»?

— А я есмь инструктор райкома партии. И ни грамма больше.

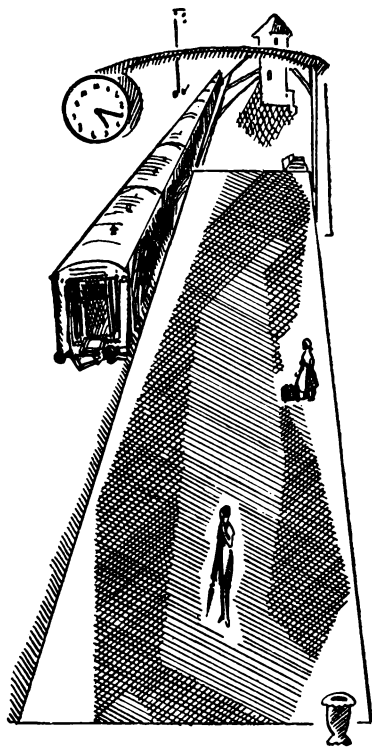
Он посуетился немного у грузовика. Посадил какую-то женщину, видимо работницу совхоза, в кабину, а сам вскочил в кузов. Машина закричала фальцетом, испугав тихую степь, задохнулась и рванула по дикой первобытной дороге куда-то в те места, где я еще не был...

Так я и не спросил его: Валька Зыков, счастлив ли ты? Я знаю, он не любит таких разговоров, я только вижу, как летит его веселый старый грузовичок, как он стоит в кузове, чуть пригнувшись, небольшой, стройный, как он улыбается мне, как ветер хочет столкнуть его, но не может.

Валька Зыков, счастлив ли ты? Ах, ведь я же о тебе такое напридумывал! Я ведь видел тебя большим начальством, я слышал шум твоего воображаемого юркого «газика», я слышал треск твоих телефонов. А впрочем, я оказался прав, только в деталях я ошибался: ты в сапогах, и тебя везет машина, и кабинет у тебя огромный — ночная степь, просторная, тихая земля.

Когда придет день праздников, заиграют оркестры, затрепещут в воздухе голубые и красные шары, когда на улицах станет оченьлюдно, мне захочется, как когда-то, чтобы ты был рядом со мной, строгий, маленький человек с серыми глазами, всегда говорящий правду. Не знаю, где будешь ты в этот день, может быть, пойдешь по степной казахской земле, мимо сколоченной наспех деревянной трибуны и будешь петь песни, от которых наши с тобой сердца всегда сжимались в тревожном и радостном ожидании подвигов.

А я поищу глазами в московской толпе, наверняка зная, что тебя здесь нет, и все-таки, может быть, я увижу мальчика, похожего на тебя, такого же тоненького, светлоглазого, не терпящего нежностей, не знающего компромиссов. Этот мальчик лет на двадцать моложе нас с тобой. Но мне очень хочется, чтобы и мы были не старше, чем он, чтобы сердца наши не заржавели, не очерствели, чтобы они всегда отзывались на чистые и грозные песни революции. В тебе-то я уверен, Валька, ну, а я уж постараюсь!





МУЗЫКА НА ВОКЗАЛЕ

С этого вокзала поезда отправлялись в Среднюю Азию.

Мы провожали главного инженера, и нас толкали со всех сторон, и мы медленно двигались к тоннелю. Уже остро чувствовалась весна, но, как только мы вошли в тоннель, весна кончилась. Исчез запах ландышей, которыми торговали во всех закоулках вокзала, запах дымящихся золотистых пирожков, запах выхлопного газа от бесчисленных автомашин и запах начинающегося дождя. Взамен этого пришел запах каменного подземного ветра, чемоданной кожи, пота торопливо и скученно двигающихся по тоннелю людей.

Главного инженера сопровождали начальник отдела снабжения, представитель проектной организации и я. Главный инженер был загорелый и важный. Он ухитрялся быть важным даже здесь, в толчее, неразберихе и спешке. Он выговаривал снабженцу:

— Так ты фонды на цемент и не выбил, Соловьева ты тоже не уломал...

Это отечески вельможное «ты» резало мне слух.

Впрочем, снабженец тоже оказался не из робких.

— А электроарматуру кто достал? А железо листовое? А?

Но главный перебил его:

— Ты-то всегда выкрутишься. Этим и знаменит.

Да, главный инженер, видимо, твердо усвоил так называемую хозяйскую манеру обращения с людьми. Манеру грубоватого, но рачительного хозяина. И, может быть, только излишняя резковатость и подчеркнутость его манеры выдавали хозяина, еще не очень-то опытного и не до конца уверенного в себе.

Он прощался с ними, давал какие-то советы, указания, просил их не дожидаться поезда. А я смотрел на него с интересом, недоверием и пристрастием, потому что первый и, может быть, последний раз видел его в роли начальника. Он дружески, неторопливо попрощался с ними, они повернулись, он приветливо и чуть небрежно кивнул им. Затем он поставил на цементный пол чемодан, закурил. До чего же он загорел! Даже ладони у него были светло-желтые, какие-то негритянские. А когда он снял очки, мне показалось, будто и глаза у него выгорели на солнце. Он тоже внимательно оглядел меня и вдруг коротко, восторженно хохотнул. Я знал за ним эту манеру внезапно смеяться мгновенным, безраздельно счастливым, но быстро гаснущим смехом.

Главный инженер исчез.

Передо мной стоял Сашка Локтев — мой одноклассник, мой друг, который загорел до неприличия и до неприличия корчил из себя какое-то начальство.

— Ты понимаешь, трудно быть моложе всех. Особенно, когда ты отвечаешь за людей. Чуть-чуть покажи свое младенчество, беспомощность — и все. Кончился руководитель.

— Жлоб ты, зазнайка, зарвавшийся щенок, а не руководитель, — говорил я ему. — И к тому же артист погорелого театра. Ведь не перед ними — передо мной ломался.

Последнюю фразу он оставил без внимания, а вот первая его задела.

— Зазнайка — это может быть... Но все-таки руководитель! — Глаза его блеснули. — Убеждать не буду... Глупо. Но если бы ты был там — поверил бы. Точно, поверил бы!

Я недоверчиво покачал головой. Где-то в глубине души я верил этому. Сашка всегда чуть-чуть пижонил, но работать умел. Работать, не считая минут, не оглядываясь

по сторонам, когда все, кроме дела, становится посторонним. И все-таки я недоверчиво качал головой. Нужно было его воспитывать. Всю жизнь я его воспитывал, с первого класса. Я был старше его на восемь месяцев и, как говорили, намного разумней... Впрочем, вот уже много месяцев мы с ним не виделись, а на расстоянии воспитывать его мне как-то не удавалось. Вот, очевидно, отчего он стал таким.

— Не веришь мне, ишак ты этакий! — смеясь, говорил он и искал что-то по карманам и не мог найти, и лицо его постепенно тускнело. Наконец он вытащил какую-то жестко хрустящую бумагу, бережно ее разгладил и, торжествуя, поднес к моим глазам. Это была Почетная грамота министерства.

— Понял? — вроде бы шутя, иронизируя, но в сущности совершенно серьезно сказал он. — Золотом по белому мою фамилию пишут. На том стоим.

Он с детства обожал всякие призы, грамоты, и для него было бы настоящим горем потерять эту нарядную расписную бумагу.

Мы вышли из тоннеля на перрон. Поезда еще не подали. Прихлопнутый стеклянным колпаком, весь вокзал с его пыльными высокими пальмами в кадках, снующими людьми, с шумно мчащимися автотележками казался мне странным гигантским аквариумом.

— И много ты успел в Москве? — спросил я Сашку.

— Эх, ты бы знал, сколько я не успел. Сколько еще не доделано.

Он как-то сразу озаботился, постарел и словно ушел далеко-далеко от меня, к своим делам, к своим строительным участкам... Все-таки, как ни крути, а он хозяин.

— Ну ладно, все утрясется, — успокоил я его.

Он шел стремительно, видимо по привычке; чуть вихляясь под тяжестью чемодана, в какой-то пижонистой, но не очень идущей ему светлой курточке, шел резкой, сильной походкой человека, привыкшего, чтобы ему давали дорогу. Но, несмотря на это, почему-то он казался мне растерянным и маленьким, а чемодан, который он нес, непомерно большим. Это было как в детстве. В детстве он иногда представлялся мне моим младшим братом. И я любил его опекать. Когда перед началом матча на стадионе «Динамо» закипала толпа, а мы рвались к голубому окош-

ку кассы и слышали хруст собственных костей, я пропускал Сашку вперед и брал в кольцо своих рук... Я занимаюсь самбо, я выше Сашки на 15 сантиметров и на восемь месяцев старше.

— А ну-ка, дай чемодан, начальник,— сказал я и почти силой вырвал из его рук громоздкий, ободранный чемодан.— Барахла накупил, что ли?

— Чучело... Покрышек футбольных пять штук, три комплекта пинг-понга, секундомеры и еще кое-что для заводских ребят... У нас со спортом плохо...

Он говорил, а я думал о том, что вот был у меня друг, жил под боком, вместе бродили по Чистым прудам, и вдруг сорвался с места, живет у черта на рогах, приезжает раз в три года, покупает всякую ерунду, носится по учреждениям, а мне остается только удивляться его выдумкам и таскать за ним чемодан на вокзал.

— Ну, как она, твоя Средняя Азия? — спросил я.— Действительно средняя?

— Нет,— сказал он и улыбнулся.— Для меня она не средняя. Для меня она самая хорошая Азия!

— Ну так расскажи об этой своей распрекрасной стране. Представляю, сколько килограммов экзотики ты припас для меня, сколько небылиц напридумывал бессонными ночами. Так облегчи же душу, расскажи!

— Ладно... Успеется. Еще сорок минут до отхода.

И вдруг он быстро, испытующе посмотрел на меня, точно я что-то затаил, скрыл от него.

— А Лена придет на вокзал?

«Вряд ли»,— хотел я ответить ему.

Ссутулясь, как-то сжавшись, он ждал, что я скажу ему: «Придет».

— Откуда я знаю, Сашка...— сказал я.— Если будет свободна, придет. Я предупредил ее. Она ведь надежный товарищ.

И тогда он посмотрел на меня с сожалением и превосходством, улыбнулся, показал свои белые нахальные зубы и, передразнивая меня, прогнусавил:

— Не знаю, не знаю...— И добавил уверенно, может быть, даже слишком уверенно: — А я вот знаю: придет!

«Поезд номер восемнадцать прибывает на четвертый путь! — жестяным, угрожающим голосом произнес радиодиктор.— Просьба приготовиться к посадке».

...Средняя Азия вошла в Сашкину жизнь внезапно и странно. В то время мы учились, кажется, в восьмом классе. Географию у нас вела тихая, сдержанная, но очень педантичная и требовательная преподавательница — Нина Петровна Фомичева.

Грех оставить преподавательницу географии без прозвища, когда так много звучных и смешных названий рассыпано на широкой, как простыня, простеганной белыми нитками карте. За Ниной Петровной не было определенного прозвища — то ее звали Панама, то Остров Борнео, но чаще всего тетя Лима или Лима Петровна в честь пройденной нами столицы Перу — города Лимы.

Это было, в сущности, нежное прозвище, может быть, даже слишком нежное для этой аккуратной, чрезвычайно вежливой, звавшей всегда нас на «вы», но весьма крутой в своих оценках учительницы. Она ставила двойки, не выговаривая нам, не нервничая. Она делала это как-то печально и даже торжественно, точно хороня нас. На лице ее в эти минуты было выражение какой-то нездешней грусти. Потому что в жизнь входили никчемные, пустые люди, которые не могли разобраться в каких-то несчастных пяти частях света.

А перед тем как кого-нибудь вызвать, она долго прикидывала, высчитывала все оценки: кому надо исправить тройку, у кого проверить пятерку. Но, как ни странно, в ее вызовах не было системы, и это было самое страшное. Мы не могли сидеть спокойно, потому что она могла вызвать даже того, кого спрашивала на прошлом уроке.

И пока она делала свои иезуитские прикидки, торопливо, судорожно шелестели страницы, бились, трепетали в потных, вспугнутых пальцах, словно паруса тонущего корабля. Мы прятались за спинами впереди сидящих, отводили глаза от глаз Лимы, мы, галопируя, мчались по страницам, и оставались в памяти не цифры, не названия, не сведения, а скачущие, ускользающие, потерявшие смысл буквы. Нужно было срочно ввести в мозг выжимки, сгустки непрочитанного, невыученного материала.

Но существовал человек, который не шелестел страницами, не прятался, не пытался всадить в себя штрафную порцию знаний, — Сашка Локтев.

Он разработал свою собственную психологическую си-

стему, которой неуклонно придерживался. Эта система носила название «смелый взор».

Он смотрел на преподавателя открытым, смелым взором чистых, не замутненных излишними знаниями глаз. В его взгляде вместе с тем не было вызова: мол, мне не страшно, я вас не боюсь (эту практику, применяемую другими, Сашка отвергал). Он смотрел на преподавателя спокойно, вежливо и мудро. И, как правило, его вызывали реже других.

Но тетя Лима опрокидывала все и всяческие расчеты. Она была человеком неожиданных, выходящих за рамки привычной психологии решений.

— Вопрос следующий,— сказала она.— Средняя Азия. Природные условия, национальный состав. К доске пойдет...

И тишина. И шелест страниц. И секунды, когда человек обдумывает всю свою жизнь. Впрочем, я хоть и лихорадочно листал страницы, но был спокоен. Учился я довольно ровно и ниже четверок не переступал.

— Итак, к доске — Локтев!

Сашка легко и уверенно встает. Он идет пружинистой, веселой походкой. Подойдя к доске, он делает классу поклон. Это азиатский восточный поклон. Так, должно быть, кланялись муэдзины.

— Ну,— говорит Лима,— мы вас слушаем. Вы готовы?

— Я всегда готов,— говорит Сашка.— Итак, Средняя Азия. Средняя Азия — страна жгучего солнца. Это одна из важнейших природных особенностей Средней Азии. Единственная отрада в жаркие душевные дни — это оазис. Оазисы — благоухающие своеобразные места, снабженные водой... Весной в пустынях Средней Азии цветут маки.— Сашка перевел дыхание.— Они цветут в песке, и это удивительно красивое зрелище. Желтый песок и красные маки. Они цветут в барханах. Также Средняя Азия знаменита своей древней культурой. В древнем Хорезме расцветали всякие ремесла. А потом началось нашествие Чингис-хана, и все кончилось.

— Что кончилось? — говорит учительница.

— Все кончилось,— ослабевшим голосом говорит Сашка.

— И ответ кончился,— говорит Лима.

— Нет, он только начался,— тихо говорит Сашка.

Класс притих. Вначале мы поразились его уверенности и странной лирике, которую он начал нести. Потом мы притихли.

Он повернулся к карте Средней Азии.

Жгучая бумажная страна молчаливо простиралась перед ним. Желтели ее пустыни, тускло голубым светом мерцало Аральское море. Но карта ничего не могла подсказать — на ней не было названий. Это была немая карта.

— Что еще вы нам расскажете?

— Еще там... небогатая растительность. А животный мир, наоборот, очень богатый. Особенно опасны змеи. Их изучают ученые, под названием герпетологи.

Никто в целом классе не знал такого слова — «герпетологи». Только Сашка знал. Но зато многие имели представление о природных особенностях Средней Азии, а Сашка никакого. Впрочем, он еще боролся.

— Сейчас... Я кое-что вспомню... Я как-то смешался.

— Ну хорошо, посмотрим, как вы знаете карту. Покажите мне хребет Таласский Ала-Тау.

Сашка с присущей ему энергией резко поднимает указку, указка бороздит бескрайние просторы Средней Азии, а затем слепо, беспомощно тычется в заштрихованные коричневыми волнами азиатские республики. Указка замирает неподвижно. Затем в какой-то предсмертной судороге скачет по карте, дрожит в воздухе. И затихает насовсем. В классе — смех.

Никогда не забуду я эту мечущуюся в отчаянии указку, эту поникшую фигурку на фоне цветистого полотна с ядовито-желтыми пятнами пустынь и коричневыми линиями гор. А Лима грустно принимает из его рук табель и выводит своим мелким изящным почерком знаменитую отметку.

— Как вы готовились? — говорит Лима. — По учебнику?

— Нет,— гордо отвечает Сашка.— Я читал «Чингисхана» Яна и «Историю древнего Хорезма».

И тут, устав от этого путаного, вечно что-то выдумывающего, странного ученика, она вызывает человека, во время ответа которого можно не мучиться и не терять веру в подрастающее поколение.

— Дмитренко, к доске. Общие сведения о Средней Азии!

Я встаю и иду к доске.

— Средняя Азия — часть азиатской территории Советского Союза, которая простирается от Каспийского моря на западе до советско-китайской границы на востоке, от государственной границы на юге до Арало-Иртышского водораздела с включением Балхашского бассейна на севере... — Я говорю чуть глуховато, стараюсь не играть голосом, не выпячивать своего превосходства перед Сашкой.

А когда я сажусь на место, он смотрит на меня с презрением, с тем непередаваемым презрением, которое он питает к так называемым зубрилам и первым ученикам.

— Поздравляю, — говорит он. — И все-таки ни черта не понял ты в Средней Азии!

А потом кончились уроки, и мы вышли на школьный двор. На баскетбольной площадке суетились и прыгали девочки из соседней школы. У нас была смежная площадка. Они нарядились в штаны — ни дать ни взять мальчишки, только мальчишки с другой планеты, уменьшенные, утонченные и визгливые. Мы с Сашкой шли молча и еще издали увидели маленькую шуструю фигурку, которая ничем не отличалась от других, которая так же суетилась под баскетбольной корзиной. И только мы двое умели ее отличить от всех остальных. Мы подошли к площадке. В это время Ленка кидала мяч. Ленка неловко, с каким-то смешным замахом, по-девчачьи кинула мяч — и мимо! Сашка был мрачен и молчалив после географии, но тут он выступил вперед.

— Разве так кидают? — сказал он. — А ну-ка дай.

Игра остановилась. Девочки с уважением смотрели, как он мягко, чуть сутулясь, разбежался, как небрежно и в то же время легко вел мяч, словно привязанный к его ладони тонкой невидимой нитью, как красиво сделал отскок и кинул... И как мяч задел сетку, повертелся на кромке, словно раздумывая, лечь в корзину или нет, и пролетел мимо.

— Мастер-мазила, — сказали девчонки.

Лена молчала. Слово было за мной.

— В общем, Средняя Азия! — произнес я.

Тогда он резко повернулся, схватил мяч, швырнул его

куда-то далеко за щит и пошел по широкому спортивному двору, одинокий, молча принявший мою издевку и не унизившийся до ответа.

— Сумасшедший, — фыркнули девчонки.

А Лена ушла с площадки и спросила с тревогой, с какой-то взрослой тревогой:

— Что с ним?

Потом мы ходили с ней по мокрым весенним улицам и разговаривали о разном — о баскетболе и покушении фашистов на Пальмиро Тольятти, об учительнице тете Лиме и о том, что Лена станет врачом, а может быть, и строителем.

Но главным образом мы говорили о нем... О том, какой он странный и сумасшедший, о том, какой он нетерпеливый и горячий, о том, как он любит прихвастнуть и строить из себя бог знает что, и воображать, п... Мы ругали его на чем свет стоит и не могли говорить о нем беспристрастно, потому что оба были обижены на него и потому что любили его оба.

А он вбил себе в голову какую-то новую дурь, увлекся Средней Азией больше, чем футболом и автомашинами, читал о ней книги и щеголял какими-то азиатскими словами: «саксаул» и т. д., говорил о том, что ничего нет прекрасней на свете, чем страна пустынь (как будто бы он там был). И мы звали его в классе «Средняя Азия».

А жили мы хорошо. Часто слонялись вдвоем по городу просто так, разглядывая стоящие у дверей посольств важные, неправдоподобно сверкающие иностранные автомобили (в то время в Москве они были редкостью) и сравнивали их с нашими («Победу» и «Москвича» начали только выпускать), и мы приходили к выводу, что те красивее, а наши все-таки надежнее. И шли дальше, подолгу торча у витрин, афиш и газетных стендов. А потом вдруг Саша ссорился со мной или с Ленкой, и мы снова обсуждали его поступки и говорили, какой он себялюбец, фантазер, эгоист и т. д. Иногда мне становилось даже обидно: почему говорят все время о нем, почему все время он со своими делами в центре внимания? И однажды я высказал свои сомнения Лене. И Лена ответила:

— Понимаешь, Сережка, с тобой все ясно. Ты хороший парень и верный товарищ. У тебя все на месте. А у него все наоборот. В нем столько всего намешано, что нам

надо его изучать и разбираться в нем, чтобы бороться с плохим и поощрять хорошее.

И я впервые не захотел быть хорошим парнем и надежным товарищем. Я захотел быть таким же, как он, где все перемешано, таким, чтобы меня нужно было изучать.

А потом пришел десятый класс. Мы сидели над учебниками, как каторжники. Решающее значение придавалось тогда медалям. Медали — итог всей учебы, говорили нам. Медали — пропуск в институт. И мы сидели допоздна, читали учебники, зубрили так, что у нас затекали спины, и ждали, когда раздастся телефонный звонок друга, чтобы появилась законная причина отвлечься от занятий. Я твердо шел на золотую. Сашка же все время кричал, что ему плевать на медаль, что он и так проживет. Да никто всерьез и не смотрел на него как на будущего медалиста. Но со второй четверти он начал творить буквально чудеса, он получал пятерки по всем предметам, исправил все свои годовые четверки и вырвался в число первых. Многие удивлялись. А я понимал, что Сашке действительно не нужна медаль, он поступит и без нее. Но он хочет доказать всем, что, хотя его и считают анархистом, хотя он входит в рубрику так называемых «способных, но неорганизованных», — он может получить медаль, если захочет, может заткнуть за пояс испытанных первых учеников, тех, чьи фамилии с растроганными, умильными лицами произносят на родительских собраниях классные руководители.

Но в его табеле все же красовалась одна тройка, которая портила весь вид. Тройка по географии. А последняя четверть кончалась. Тройку нужно было срочно исправлять, иначе он мог потерять шансы на медаль.

В тот вечер я сидел допоздна в школе, занимался с двумя отстающими ребятами, к которым меня «прикрепили». Вдруг подходит ко мне тетя Лима и говорит:

— Если ваш Локтев хочет исправить свою оценку, пусть приходит завтра после пятого урока. В субботу у нас последнее занятие, и спросить его я не успею. Сходите к нему и предупредите.

И я помчался к нему. Всегда по вечерам он дома. А сегодня, как назло, его нет. Тетка (его воспитывала тетка; отец погиб на фронте, у матери — другая семья) говорит:

— Сказал, что пошел в библиотеку.

Я — в районную библиотеку. Его нет. Я — в Лепинку, — там его тоже нет. Я — к ребятам, — никто ничего не знает. Тьфу ты, думаю, потеряет Сашка медаль ни за что ни про что. И из-за какой-то несчастной тройки. А может быть, он, черт его побери, на стадион поехал? Он ведь такой. На «Динамо» в этот день как раз играли «Спартак» и «Динамо». Я помчался на стадион. Матч шел уже к концу. Ухают трибуны. Голубая чаша стадиона точно кипит, а я брожу как идиот, жду конца матча. Потом вижу, народ идет... Сначала толпа течет ручейком, потом все мощнее, бурнее поток, а я на пути болтаюсь, как щепка. Чуть меня не смяли, кое-как добежал до метро. Жду его у выхода. Час жду — его нет... Ну, думаю, все, больше не могу. Хватит. Он знай шлейся, а я страдай. Устал я от всех этих дел... И все-таки, думаю, надо его найти. Грош цена нашей дружбе, если я не могу ради него один вечер помучиться.

И я рванул к нему домой. Занял позицию на подоконнике. Жду. Прошел час, два. Ну, думаю, ничего, у него еще ночь впереди. За ночь при его способностях можно весь курс пройти. Подоконник холодный... Наверное, заболелю ишиасом. Все время кто-то зыркает на меня глазами. То старушка какая-то — вся сжалась, будто я грабитель и сейчас на нее кинусь; то влюбленные какие-то только устроились на другом подоконнике, меня заметили — и с места, словно я чума; то какой-то гражданин, проходя мимо меня, заявил: «Заниматься надо, экзамены на носу, а эти сидят на подоконниках, Дульциней своих поджидают». Хотел я ему высказать насчет своей Дульциней — Сашки Локтева, но смолчал. Примерно часов в двенадцать я задремал...

И вдруг (а может, мне это приснилось) я слышу: «Ну, теперь моя очередь тебя провожать...» И в ответ тихий женский, какой-то очень тихий голос: «Мы уже провожаем целый час. Ты провожал меня три раза, я тебя — два, итого — пять. Отличное число. Может, хватит, завтра ведь не воскресенье».

Но каким бы тихим ни был этот голос, я различил бы его даже в шуме океана.

И вот этому тихому голосу отвечает другой, который я тоже могу узнать по первому звуку: «Для меня завтра воскресенье и послезавтра воскресенье, потому что...» На-

ступила пауза. Он что-то выдумывал, сочинял и наконец пропел-произнес: «Потому что на душе у меня весна». Оба они захохотали. Они хохотали очень громко. Их смех катился по гулким, притихшим лестницам. Он поднимался все выше и выше, он добрался до меня, и сила его была так велика, что он словно ударил по моим плечам, и я соскочил с подоконника.

— Ты говоришь, как Аршин мал-алан,— счастливо смеясь, захлебываясь от какого-то незнакомого мне, непознанного, неразделенного мной восторга, бормотала она.— Ты — Аршин мал-алан, ты мой азиатик. Ты мой Аршин мал-аланчик. Ты мой самый хороший... Ты...

И тут она затихла, точно кто-то закрыл ей рот, точно кто-то помешал ее губам открыться, чтобы сказать слово, точно кто-то... Я уже был не маленький, я знал причину такой тишины. И я побежал вниз по лестнице, громко стуча ногами и раскачивая перила так, чтобы они ржavo скрипели и визжали, так, чтобы этот скрип испугал стоящих внизу. Потом с лихорадочно бьющимся сердцем я стоял в полутьме подъезда, там, где еще секунду назад были они, и думал: «Как же мне быть? Как же мне жить дальше?!»

Я знал, что нас было трое, и мы говорили о машинах, о Галине Улановой, о том, что надо попасть в институт. Я помнил, что мы бродили с Леной по улицам, я брал ее под руку, я говорил с ней о Сашке. Я знал только одно — она мой друг и он мой друг. Я старался ни о чем другом не думать.

А теперь: как же мне жить дальше?

И пусть он пропадет пропадом, этот человек, пусть он засыплет географию, пусть он не получит медаль, пусть бормочет что-то о своей Средней Азии. Но было что-то другое, более сильное, чем это. И я выскочил из подъезда, из этой мышеловки, захлопнувшей мою дружбу и мою любовь, и побежал по черной, пустой улице.

Я видел, как они идут рядом, оба почти одного роста, как падает синий рекламный отсвет на их плечи и головы, как шевелятся эти голубые странные головы, все время склоняясь друг к другу. А я бежал за ними, я делал какие-то дурацкие заячьи прыжки, потому что у меня очень длинные ноги и потому что у меня внутри прыгало, прыгало, как глухо скачущий теннисный мяч, мое сердце.

Я бежал не для того, чтобы бить его. Я бежал, чтобы сказать ему про географию. И я догнал их. Она посмотрела на меня отчужденно, словно отстраняя от себя, словно прося ничего не говорить, не вмешиваться, не влезать. А он посмотрел снисходительно, словно бы свысока, так смотрят на ребенка, который застал взрослых в неподходящий момент.

— Ну что, прохлаждаешься перед ночным бдением? Все занимаешься, золотая медаль?

— Да,— сказал я.— Да, да.

Эту историю я вспомнил потому, что он спросил о Лене. Когда произносилось ее имя, я всегда вспоминал эту историю. Но странное дело: стоило мне случайно встретить Лену на улице, и все это уходило: передо мной стояла женщина, которую я не знал, другая, ничего общего не имеющая с той девчонкой... Но когда я слышал это имя, да еще в сочетании с именем Сашки, то забывал про новую Лену, и видел ту, и никак не мог понять, что той, в сущности, уже не существует. Впрочем, я встречал Лену крайне редко. Я знал, что она вместе с Сашкой поступила в строительный институт. А Сашку я никогда не спрашивал о ней. Но я понимал, что в те вечера, когда он куда-то спешил и что-то возбужденно болтал, не задумываясь особенно, слушают его или нет,— в те вечера он уходил от меня, от наших общих мужских интересов и увлечений куда-то в другую жизнь, подчиненную ей... И возвращался часто веселый, самоуверенный, счастливый; реже — растерянный и молчаливый.

А потом подошло горячее времечко. Дипломы, распределения. Меня оставляли в аспирантуре при биофаке. Была у меня интересная тема, назначили мне руководителя. А Сашка метался: то он хотел остаться в Москве, то говорил, что хватит гулять по Чистым прудам, что надо отдавать стране долги, что пора в дорогу. А куда в дорогу, в какую дорогу — все это, как всегда у него, было не выяснено до конца, не уточнено.

Однажды вечером ко мне пришла Лена. Это было крайне неожиданно для меня. После того дня она никогда ко мне не приходила.

— Сережа,— сказала она мне.— На распределении он

заявил, что едет в Среднюю Азию строить металлургический завод. Только ты можешь его остановить. Он тебя уважает.

— А тебя? — спросил я.

— Меня он любит. Но это совсем другое дело...

— Ну и чем же тебе не нравится Средняя Азия? Прекрасная, солнечная страна, — сказал я.

— Это я и без тебя знаю, — ответила она. — Ты ведь понимаешь — я не держу его в Москве, такому человеку, как он, нельзя сидеть на одном месте. С его энергией, с его фантазиями. Но в Среднюю Азию ему нельзя. У него плохое сердце, в детстве у него был порок. Ему туда нельзя... Ни в коем случае.

Она говорила убедительно. Очень убедительно. Настолько убедительно, что я не поверил. Я вдруг понял, что дело тут не в сердце, и сказал:

— С некоторых пор я решил не вмешиваться в ваши дела.

Она посмотрела на меня с убийственной женской иронией. И я подумал: «Сейчас она мне выдаст, только держись!» Но она промолчала. А вечером пришел Сашка, усталый, измученный; вид у него был такой, словно он уже год сдает по экзамену в день. Лицо его стало маленьким и серым.

— Остаюсь.. К черту эту Среднюю Азию, там работать дьявольски трудно, а у меня сердце.

— Конечно, правильно... Ведь у тебя сердце.

— И я думаю, что правильно, — неуверенно сказал он. — Самое правильное решение. Будем работать в Московской области... И Ленка будет там же.

— Здорово... Прекрасное решение.

— Здорово-то здорово, — сказал он. — Да не совсем здорово.

А через четыре дня он вдруг собрался и, никому ничего не говоря, уехал. Потом я получил от него телеграмму. Текст был короткий: «Привет из Средней Азии». И все. Больше ни слова. Что у них с Ленкой стряслось, так я и не узнал.

— Ну, так пошли в вагон, скоро отправка, — сказал я.

— Давай, — согласился Сашка.

Мы вошли в купе, он сунул куда-то свои чемоданы,

машинально спросил у кого-то: «Вы здесь побудете?» — и, не дождавшись ответа, вышел из купе.

— Не люблю загнивать в вагоне... Пойдем лучше пивка выпьем.

— Не успеем, всего полчаса осталось.

— Без меня не уедет, — усмехнулся он.

— Ну еще бы, без такой ответственной фигуры состав ни на шаг, — сказал я.

— Не насмешничайте, аспирантик... Кстати, как твои дела?

Мы сели с ним за голубой блестящий столик под полосатым тентом. Официантка принесла пиво.

— Дела мои, кстати, не плохи, — сказал я.

— Не надоело? — спросил он. — В школе — за партой, в институте — за партой, сейчас — за партой. Свободы не хочется?

— У меня свободы не меньше, чем у тебя. И свободы и простора для экспериментов. И всего прочего.

Он снял очки и посмотрел на меня в упор. Странно светлыми, прозрачными казались его глаза на коричневом, ровно и крепко обожженном солнцем лице.

— У меня нет простора для экспериментов, — сказал он. — Эксперименты стоят миллионы рублей. У меня есть только одно право — делать наверняка.

Он говорил серьезно, в тоне его звучало превосходство рабочего над школяром... И слова его чем-то задели меня.

— А впрочем, Серега, — сказал он добродушно, — каждому свое... Твое дело, наверное, великолепно, но мне этого не понять.

— Ну и черт с тобой, — сказал я. — Расскажи лучше что-нибудь о своей Средней Азии.

— Еще успею, впереди двадцать минут. — Он беспокойно посмотрел на вокзальные часы. И добавил: — У нас с тобой еще уйма времени.

И в словах его опять проскользнула какая-то тревога.

Мы сидели молча... Резким ослиным голосом, точно проклиная кого-то, закричал паровоз. И от этого крика мне стало не по себе, захотелось вдруг сорваться и тоже — в дорогу. Всегда, когда я слышал крик паровоза, мне хотелось в дорогу. Но вот этот крик гас, затихал, а я

оставался на перроне, и никакая дорога не предстояла впереди, а просто я опять кого-то провожал...

— А хорошее в Москве пиво,— с неожиданной грустью сказал он.— Соскучился я по «Жигулевскому».

— В Москве еще кое-что есть,— резонерским голосом сказал я.

— Да что ты?! — Он сделал большие глаза.

— Ей-богу. Вот не знаю, что там у вас есть?

— У нас там есть такое,— серьезно сказал он,— что тебе и не снилось.

— Маки расцветают в пустыне? — усмехнулся я.

— И маки расцветают в пустыне,— сказал он.— И заводы расцветают в пустыне. И многое еще расцветает в пустыне.

— Ты поэт,— сказал я.— Ты — поэт Средней Азии. Ты — Алишер Навои.

Я ожидал, что он отпикируется, но он оставил эту фразу без внимания. Он все чаще и чаще, все напряженней смотрел на выход из тоннеля. Оттуда с какой-то удивительной равномерностью вытекала толпа. И уже на перроне этот ровный поток разбивался, приостанавливался; люди как-то сразу застопоривали, словно осекались на бегу, растерянно и беспокойно смотрели на составы, будто те вот-вот уйдут, вопреки расписанию, и спрашивали, спрашивали: «Где? Когда? С какой стороны?» Спрашивали у контролеров и у таких же, как они, пассажиров и даже у мороженщиц, с превосходством наблюдавших за беспомощной и суетливой толпой.

А Сашка Локтев смотрел на пассажиров и ждал и не спрашивал: потому что ни контролеры, ни мороженщицы, ни даже справочное бюро не могли сказать — придет ли Лена.

Мы допивали холодное пиво, которое казалось горьким, потому что мы давно не пили пива и потому что к его горечи примешивалась странная, неуловимая горечь этой короткой встречи и этого ожидания. Сашка закурил, прищурился, посмотрел на меня и вдруг сказал:

— Жениться тебе, брат, надо... Скоро ты профессором будешь. Пора тебе, брат, жениться...

— Ну, а тебе, главный инженер? — в тон ему спросил я.— Тебе-то вообще необходимо.

— Мне это не подходит. Мне они быстро надоедают.

- Кто — они? — сказал я.
- Женщины.
- Все надоедают? — спросил я.
- Нет, не все, — сказал он.

К нам подошла официантка, мы оба потянулись за деньгами, но он поморщился и недовольно буркнул:

— Хватит студента из себя корчить. Может, в складчину сложимся?

Мы встали, пошли к поезду.

Темнолицые приземистые люди в тибетейках тащили в вагоны трехколесные детские велосипеды и электрополотеры, носильщики сгибались под тяжестью картонных ящиков с телевизорами; поезд уходил далеко, туда, где не хватает воды, детских велосипедов, электрополотеров. И перрон что-то бормотал, что-то гудел, бросал отрывистые гортанные слова и волновался, потому что на перроне стояли провожающие, а они всегда волнуются. И все бежали, спешили, шумели, и только поезд был неподвижен, молчалив, будто он стоял здесь уже вечность и будет стоять еще столько же, будто он не рванется вперед, чтобы мгновенно оставить позади себя этот беспокойный перрон. Паровоз молчал и только иногда, изнемогая от человеческого суесть, шумно выпускал пар, точно отдувался.

«Надо что-то сказать Сашке, — думал я. — Надо отвлечь его от всяких мыслей. Ясно, что она не придет. Теперь уже совершенно ясно».

— Ты пиши, Сашка, — говорил я ему. — Ты никогда почему-то не пишешь, бродяга ты этакый. Мне же интересно знать, что с тобой происходит... Куда тебя швырнет жизнь. И потом я хочу проследить тот момент, когда ты окончательно образумишься.

— Черта с два, — сказал Сашка и улыбнулся.

Улыбка у него была хорошая, хитровато-озорная.

Но вдруг, как обвал, на нас хлынула музыка. Многопудовая, жестяная, могучая вокзальная музыка. И подавленные ею мы оба замолчали. Но это было разное молчание. У него — молчание ожидания, ожидания, которое может оказаться напрасным. По-моему, он и сам уже понял это. Ну, а мое молчание не в счет. Я молчал из солидарности.

Как я мог помочь ему? Я бы сделал для него все, что угодно... Но заменить ее я не умел.

— И все-таки придет,— громко сказал Сашка.— Придет! Понимаешь ты, придет.

Эх, Сашка, Сашка! Самоуверенность, дикая, странная самоуверенность была всегда твоей болезнью.

Я повернулся, посмотрел на часы. И где-то в конце перрона я увидел мучительно знакомую и вместе с тем полузабытую, словно попавшую сюда из другого, уже не-реального, уже неопасного для меня мира, женщину, торопливо идущую к поезду. Кто-то шел рядом с ней. Плотный, коренастый, похожий на чемпиона по боксу, человек. И я не понимал: они вместе или нет. Может, просто к одному поезду. Но вот она легко обогнала его, что-то быстро привычно сказав, и он отстал, отошел к киоску Союзпечати.

Теперь она шла одна. Она спешила, но даже в спешке шла красиво, собранно, не суетливо. Я бы сказал, что она спешила спокойно.

— Идет,— тихо, смятенно сказал Сашка и близоруко сощурился.

— Действительно, идет! — с деланным изумлением сказал я. Пусть он поторжествует победу. Но он не стал торжествовать, не стал кричать: «Вот видишь, а ты говорил... Пришла!»

Нет, он молчал, даже чуть отступил назад, словно пытаясь на мгновение задержать эту встречу. И когда она подошла, он сказал скованно, неуклюже, как угловатый, стеснительный десятиклассник:

— Я думал, вы не придете. Я даже не ожидал, что вы придете.

— Сашка,— ласково и как-то очень свободно сказала она,— милый Сашка! Я так рада тебя видеть.

— Я тоже рад,— полупшепотом сказал Сашка, глядя на нее удивленными, какими-то незнакомыми мне глазами.

— Ты все такой же,— говорила она.— Такой же... И загорел, как азиат.

— Какой же я, по-твоему? — вдруг неожиданно и в упор спросил Сашка.

И я отошел в сторону и старался не слушать. До меня доносились только обрывки слов.

— Ты... Моложе нас всех... Ты не изменился... Единственный из нас, кто не изменился.

— Нет, только кажется тебе... Только кажется...

Потом я их не слышал. Их заглушал диктор: «До отправления остается две минуты». Их заглушали носильщики: «Верхний давай... Осторожнее, стекло». Их заглушали мои беспокойные, словно сорвавшиеся с места, мысли. И потом я смотрел на киоск, где, раскрыв газету, спокойно стоял, расставив тумбообразные короткие ноги, человек, похожий на чемпиона по боксу и одновременно на директора большого промтоварного магазина.

Но вот провожающие притиснули меня к ним вплотную, и я вновь услышал Сашкин голос, но это был уже не скованный, не стесненный голос. Это был взволнованный, страстный, убежденный голос Сашки, того Сашки, которого я любил.

— Ты понимаешь: все еще можно исправить. Тогда ты была маленькой, неуверенной, слабой! А сейчас, ты пойми, ведь еще не поздно. У нас с тобой будет все замечательно, все у нас будет хорошо, все, абсолютно все! И ты, пожалуйста, не бойся... Ты не говори мне нет... Подумай, слышишь, подумай.

— Милый мой Сашка... Тогда я не решилась, а сейчас уже поздно. Уже поздно. Я завязла, Сашка. Меня уже теперь не вытащишь.

«Да ты и не хочешь, чтобы тебя вытащили,— с ожесточением думал я.— Если бы тебя вытащили — это было бы для тебя горем».

— Да что за ерунда! — громко, возбужденно говорил Сашка.— «Не вытащишь, не вытащишь...» Да еще как вытащишь! Ты же умная, чуткая, я же в тебя верю.

— А я в себя не верю,— сказала она и вздохнула.

«И я в тебя не верю»,— мысленно добавил я.

— А я в тебя верю,— сказал Сашка.— Верю, верю всем назло... И мы будем счастливы.

Грохнула вокзальная музыка. Стучали медные тарелки. Гремели трубы, выбивая такты марша, пытаясь заглушить разлуку.

«Провожающие, просьба покинуть вагоны!» — утомленно говорил диктор.

А обо мне оба они забыли. Вернее, он забыл. Ей нечего было забывать. А он забыл, но не время сейчас обижаться.

— Скажи честно, может быть, я чего-то не знаю о те-

бе,— сказал ей Сашка, и голос его вдруг дрогнул.— Скажи правду,— добавил он уже твердо.— Ты ведь полгода не писала мне. Скажи правду.

— Нет, все так же, все так же, как и было, все так же...— быстро заговорила она.— Ничего не изменилось. Ни капельки. Только я не сумею с тобой, Сашка! Если бы ты успокоился, если бы перестал метаться... Нет-нет, я знаю, ты не будешь другим. И я не хочу, чтобы ты стал другим... Ты такой, и я уважаю это в тебе... Только я не сумею с тобой, милый!

— Все это словеса,— резко, даже грубо сказал Сашка.— Не запутывай себя и меня. И не трусь! Хватит трусить.

В голосе его была ярость. Ярость и надежда.

А я в это время думал о ней. Она просила его сдаться. Она ставила ему условия сдачи. Но она достаточно тонка, и она неплохо знает Сашку. И поэтому делает вид, что не просит его ни о чем... «Я уважаю это в тебе». Лучше бы сказала: «Я ненавижу это в тебе».

Да, но ведь и я тоже... просил его образумиться. Впрочем, я шутил... Да, да, я шутил, и ничего больше.

«Поезд № 18 отправляется»,— проговорил диктор. И музыка на вокзале затихла. И в пронзительной, острой тишине я услышал, как Сашка кричит мне:

— До свидания, Серега! Спасибо тебе, дружище. Будь счастлив!

Я молча махнул рукой, хотел что-то сказать, но не сказал.

— До свидания, Лена! — кричал он.— Прощай! — кричал и размахивал руками и смотрел на Лену.

И вдруг что-то рвануло ее к поезду, она побежала, забыв о своей осанке и о своей красоте. Она несколько шагов шла рядом с подножкой, точно хотела вскочить и не решалась, и проводник принял ее за опоздавшую и протянул ей руку. Но она не взяла руку, а остановилась. И медленно пошла назад. Поезд шел вперед, она — назад, а я смотрел на нее и на Сашку, но Сашки уже не было видно.

Лена подошла ко мне и с тоской и, как мне показалось, с облегчением сказала:

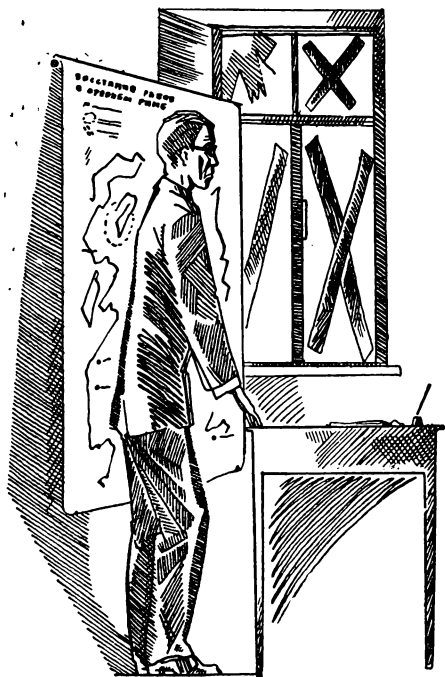
— Вот и уехал... Мы с тобой остались на перроне, а его уже нет.

И, заглушая ее слова, снова заиграла музыка на вокзале.

Может, Лена права? Может, я навсегда остался на перроне провожать чужие поезда?

— Нет, черта с два,— сказал я ей.— У него есть Средняя Азия, а у тебя ничего нет. Только вон тот, который стоит у киоска. А у меня... Я еще тоже не нашел свою Среднюю Азию. Но я хочу найти ее, и поэтому не равняй меня, пожалуйста, с собой. Понимаешь, Лена?!

Но Лена не поняла: музыка на вокзале была слишком громкой.





ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

„КЛАССНЫЙ“

В сентябре сорок первого в нашей школе началась кутерьма. Некоторые семьи начали эвакуироваться, старшеклассники обивали пороги райкомов комсомола и военкоматов. Мужчин-учителей почти не было. И мы ходили в школу просто так... Впрочем, уроки были, и двойки тоже не прекратили существования, они живучие — во все времена...

На третий день учебного года в школе устроили вечер: «Все для фронта, все для победы». Сначала показали кинохронику. Там немцы шли по Парижу. Они шли убийственным, каким-то неприличным гусиным шагом, равняя на экран сведенные в восторге и торжестве скулы, шли по пустым, вымершим площадям. Это были удивительные, нечеловечески безлюдные и траурные площади. И немцы все казались мне на одно лицо.

После хроники показали фильм «Чапаев». Я смотрел его уже в третий или четвертый раз и все знал наизусть.

И все-таки я напряженно ждал одного места, одного эпизода... Там белые идут в психическую атаку. Они шли точь-в-точь как фашисты по пустой, мертвой площади, таким же точно шагом. И когда Чапаев и Анка начали косить их, я снова знал все наперед и снова волновался и кричал вместе со всеми: «Бей немцев, гадов, гитлерюиков!» Мы кричали все громче и топали ногами, а учителя не одергивали нас, хотя это был школьный просмотр. И всем было весело и азартно оттого, что эти самые немцы ложатся под нашим огнем и уже не будут по-зачьи вскидывать ноги и идти по площадям, похожим на пустыни.

Но вдруг сеанс прервался. Тонко завывли сирены. И, когда нас вели в бомбоубежище, я думал: вот и кончилось кино.

Нас вел в бомбоубежище наш классный. Он был один из последних мужчин, еще оставшихся в школе.

В бомбоубежище было холодно и сыро, стены были коричневые, влажные, с ржавыми каплями воды. На стенах висели инструкции. Было тихо и от этой тишины страшно. И вдруг классный начал чихать. Он был маленький, а чихал громогласно, перекатами, затяжными залпами, со свистом и с сотрясением воздушных волн. Его чихание громыhalo под низкими сводами бомбоубежища, как грохот зенитки. И нам стало смешно, и странная, настороженная тишина исчезла. Я думал: «Ну и чудак наш классный, это он нарочно, он знает, что мы дурачки — нам покажи палец, и мы рассмеемся. А тут такой чих».

Только потом я понял, что просто классный не переносил сырости. У него была мгновенная реакция на сырость: он чихал.

Потом, когда он успокоился, он севшим после чихания голосом начал рассказывать нам исторические анекдоты. Он преподавал историю и знал массу всяких случаев, например, о том, как Наполеон сказал в Египте перед боем: «Ослон и ученых на середину!», о встрече Гейне и Гете, о всяких других великих деятелях, и рассказывал он про них так, будто сам был там и все видел своими глазами. Привирал он, видно, здорово, но от этого его рассказы становились только интересней.

Все мы любили классного, хотя нельзя сказать, чтобы очень уважали. У нас была странная черта: мы уважали тех, кого боялись. Тех, кто ставил нам пары или мог за-

просто оставить весь класс на шестой урок, тех, кто каждый балл взвешивал на аптекарских весах, тех, кто не забывал задать вопрос о том, чего ты не знал в прошлый раз, тех, кто говорил с нами по-мужски, металлическим, не терпящим возражений голосом.

А классный был не такой. Мы знали: его можно уговорить, если очень просить и при этом смотреть на него влажными, покорными собачьими глазами (это только надо уметь делать). Этого он не выдерживал... Или можно по-другому — орать истерично: «За что, за что двойку ставите? Ведь я же учил, я же учил!» Это было менее безотказно, здесь он мог взорваться. Но и это иногда проходило.

Он нас чуть-чуть опасался. Нет, не побаивался, а опасался. Чуть-чуть опасался. Он не знал, чего от нас ждать... Один раз, еще до войны, мы испугали его как следует. Тогда он только принял наш класс. Мы тогда начали мычать, хором, весь класс: «Мм-м...» Сначала он не понял, в чем дело, не знал, откуда это идет, кто виновник... Мычание нарастало, шло всплесками по классу, казалось, даже стены вибрировали. Он беспомощно озибался, хотел закричать, но понял — никто не услышит. Тогда он молча сел и с печальным изумлением посмотрел на нас. Это был странный взгляд. Но я знал этот взгляд. Я сам так иногда смотрел... В зоопарке я так иногда смотрел. Я часто ходил в зоопарк, там были разные животные...

И мы замолчали.

Он не стал жаловаться директору, не стал собирать педсовет, как это сделал бы другой на его месте. Он сделал вид, что этого не было. И потом он никогда не вспоминал об этом случае...

Он был всегда приветлив и вежлив с нами и чуть ли не с пятого класса называл нас на «вы». И разговаривать с ним было приятно; с ним я, например, не чувствовал себя учеником, мне казалось, что мы оба равные, взрослые люди. Но иногда перед началом урока, когда мы молча вставали ему навстречу, он говорил поспешно: «Садитесь, садитесь» — и смотрел на нас внимательно и вслушивался, и мне даже казалось, что он прядает ушами. Может быть, он ловил в воздухе первые звуки безликого и нарастающего, как сирена, «Мм-м...» Но этого не было, и он сбрасывал с себя напряжение и становился таким, как

всегда... Только в глазах у него еще что-то оставалось особенное, непонятное мне: какая-то настороженность, что ли, тревога, ожидание чего-то, что должно случиться... Не знаю.

Он как-то сказал мне на перемене:

— А знаете, в отдельности вы все такие милые, а вот вместе вы иногда превращаетесь в стадо. Это даже интересно.— Он улыбнулся и задумался. А потом добавил: — Когда людей много, количество переходит в качество. Когда их много — они совершают самые неожиданные поступки. Самые героические, а иногда и самые страшные. Как вы думаете?

— Черт его знает,— сказал я.

— В том-то и дело, что никто этого толком не знает, даже черт.

Станный он был человек. Может быть, ему вредила склонность к философии. В молодости он был каким-то видным работником Коммунистического интернационала молодежи. А потом, говорят, у него были какие-то неприязности... Он был холостяк. О нем ходили разные сплетни о том, что его бросила жена, и все такое...

Меня это не интересовало.

Он дружил с молодежью, вечно к нему приходили какие-то студенты.

Он поражал меня тем, что никогда не отдыхал. Он, казалось, всегда был в каком-то напряжении, всегда о чем-то думал и был сосредоточен или что-то читал и делал пометки в книгах. Он таскал с собой огромные тома Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, энциклопедистов. Он все вычитывал и вычитывал что-то и обдумывал это, точно был не учитель старших классов средней школы, а какой-нибудь д'Аламбер и собирался переделать мироздание. А может, он вовсе и не собирался ничего переделывать. Просто он хотел что-то понять. Что-то понять. А что, я не знал. Может, сущность человека или человечества, а может, что-нибудь еще. А может, он и сам не знал, чего он хочет. Так ведь тоже бывает.

Когда началась война, он ходил бледный, притихший и постаревший. Мне казалось, он очень боится. Конечно, думал я, все боится, но зачем же ходить таким несчастным. Народу в школе становилось все меньше — матери, деды и бабушки увозили своих одноклассников в Сибирь и

в Среднюю Азию. И стало уже привычным вчера еще незнакомое резкое слово «эвакуация».

Ну, а мы по-прежнему ходили на его уроки, где он тихим простуженным голосом рассказывал об отгремевших войнах, закончившихся победой русского оружия.

Но особенно дружно мы ходили на занятия по военному делу.

Раньше мы «сачковали», бегали с военного дела. Теперь же ходили все, кто остался в Москве: освобожденные и неосвобожденные. И хотя все мы были трезвые ребята и понимали, что фронта нам по возрасту не видать как своих ушей, занимались мы с таким старанием, с такой яростью, будто завтра же ждали повесток.

Военрук водил нас на стрельбище, там мы были тихие и важные, нам давали винтовки времен первой мировой войны, и мы целились, и руки у нас дрожали от ответственности и непривычки.

Однажды классный пришел на стрельбище. В этом не было ничего особенного, классные руководители еще до войны любили приходить и «инспектировать» нас. Но в тот раз он пришел не для этого и вовсе не глядел на нас. Он сидел в сторонке на какой-то старой шине и покуривал, хотя курить здесь строго воспрещалось. Военрук при нас не стал делать ему замечания. Классный курил папиросу с ваткой, которую клал в мундштук — против никотина. Неожиданно он встал, аккуратно погасил окурки, засыпав его песочком, и попросил у военрука винтовку. Военрук удивился и дал. Классный вышел на «огневую», повелительно махнул рукой кому-то из ребят, чтобы тот очистил место... Классный лег, устроился, дрыгнул ногами и по сигналу «пли!» выстрелил. Первый он промазал. Кто-то сдержанно засмеялся. Потом классный стал стрелять один, без команды военрука, и выбил сорок восемь из пятидесяти.

Мы пораженно молчали.

— Да вы ворошиловский стрелок! — сказал военрук.

Классный не ответил, встал, отряхнулся, лицо у него было румяное, а глаза возбужденные, блестящие, и в них я не заметил того, что так часто замечал и чего не мог понять...

Через три дня мы узнали, что он записался в первую группу московского ополчения. Был он нездоров, у него

были слабые легкие, он имел освобождение от воинской повинности — белый билет, и даже на смотревшую сквозь пальцы на все человеческие недуги комиссию ополчения он, говорят, произвел тяжелое впечатление.

Но он не изменил своего решения. На его последний урок пришло много ребят. Он был рассеян, что-то начинал рассказывать, потом забывал об этом, замолкал. Липо у него было невыспавшееся, серое, как тетрадная обложка.

Мы ожидали, что он скажет нам что-нибудь на прощание, ожидали каких-то особенных и значительных слов: мы знали, это он умел, недаром он так любил цитировать деятелей французской революции. Мы сидели торжественно и тихо. Но он ушел буднично, назвал номера параграфов, заданных на дом, кивнул и только у дверей чуть задержался. Мы встали, нестройно хлопнув крышками парт, он посмотрел на нас и тихо сказал:

— Когда у вас будет новый классный... не устраивайте этого.

Мы поняли, о чем он говорил.

Мы ждали, что он еще что-нибудь скажет. Да он и сам хотел что-то сказать, что-то вертелось у него на языке, но он так и не сказал, только пробормотал: «Ну да ладно, ладно» — и ушел.

Мне захотелось проводить его домой, я еще до войны его иногда провожал. Я его любил больше, чем другие наши ребята, да и ко мне он, по-моему, относился неплохо. Я подождал его около учительской, он вышел, и я сказал ему:

— Я вас провожу. Хорошо?

— Конечно,— сказал он.

Мы шли молча, потом дошли до Мало-Николопесковского переулкa, где он жил, и у самого его дома я ему сказал:

— Вы стреляете хорошо, но вы больны; может, больше пользы будет, если вы не пойдете. Вы же сами говорили, что фронт начинается с тыла.

— Это правильно,— сказал он и слабо улыбнулся.— Но дело в том, что живешь ты свою не очень долгую жизнь, и быт тебя заедает, пустяки, разные неурядицы, и сам ты становишься такой бытовой, пустяшный. А по роду деятельности ты всякие слова говоришь и цитируешь

всяких ученых, революционеров и все твердишь: «Борьба, счастливое будущее, человечество...» Но вдруг — бац! — и началась эта самая борьба. Так словеса и подтверждать надо, как ты считаешь?

Он впервые назвал меня на «ты».

— Да, конечно.

— Ну, вот и все. А потом, я тебе скажу по секрету: мне не везет во второстепенном и везет в главном.

— То есть?

— Ну, в общем, там, где всем приходит крышка, я выживаю... Это уже проверено.

Я молчал и смотрел на него. Выглядел он скверно — видно, он плохо себя чувствовал и, наверное, ему не хотелось идти в свою комнату, где он жил один.

— Да ты не грусти, дружок, — сказал он. — Знаешь, что сказал Спиноза?

— Нет, не знаю, — тихо пробормотал я.

— Так вот запомни: не плакать, не смеяться, а понимать.

Через месяц он погиб. У него не было родных, и похоронная пришла на адрес школы...

Когда мы ехали в Сибирь, в эвакуацию, и в теплушке было тепло, и все лежали неподвижно, и каждый думал о ком хотел, о своих живых и о своих погибших, — я думал о классном. Я и теперь часто думаю о нем...

ДЕД-МОРОЗ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА

В декабре сорок второго родительский комитет средней школы сибирского поселка Каменка принял решение: организовать и провести встречу нового, сорок третьего года.

Мы очень уставали тогда: старшекласники вечерами ходили каждый день на завод, собирали металлическую чушку. В школе мы сидели в валенках и тулупах, замерзали, негнущимися руками писали диктанты. Наши шефы доставали нам дрова, но в школе было холодно. Мы занимались в бывшей церкви. Старая школа не могла вместить всех: одних только эвакуированных было человек двести.

Кончилась четверть, начинались зимние каникулы. Зимние каникулы 1943 года.

Младшеклассники часто и подолгу болели, а ленинградские вообще еле волочили ноги. Жмых — не самая питательная пища. Они смеялись тихо, почти не шкодили на уроках и все спрашивали у исторички: будем ли мы проходить Германию?

Историчка отвечала, что будем, когда дойдем до Западной Европы.

И тогда Петя Кафанов, худенький чернявый мальчик в очках, который жил в Ленинграде около дома Пушкина, сказал со спокойной ненавистью:

— Зачем же нам ее проходить? Я бы ее сжег, Германию...

Отец его был танкист, и от него не было писем. И похоронки не было. Не было ничего. Это называлось «пропал без вести».

Историчка не стала объяснять Пете, что Германию не надо сжигать, что дело не в Германии, а в фашизме... Это она, может быть, объяснила ему позже, а не тогда. А может, он и сам через несколько лет понял это.

Но она знала, историчка, как и другие учителя, как и родители: детям нужен праздник. Они стали слишком жестокими и взрослыми. Им нужна передышка, новогодние каникулы.

И на праздник были мобилизованы все. Старшеклассники тайно отдирали обложки от учебников и вырезали из них некие лапотные узоры. Учительница пения вспоминала позабытые песни елочно-новогодней тематики. Преподавательница физкультуры занималась в зале, и те, кто ее видел, были испуганы выражением тихого вдохновения на ее лице: она разучивала акробатический этюд. Какую-то девятиклассницу-отличницу готовили на роль Снегурки. Завод выдал школе патефон.

Словом, все погрузились в новогоднюю суету с шумной неумелой самозабвенностью, потому что очень отвыкли от праздников и очень привыкли к будням.

Но они помнили, наши преподаватели, устроители вечера, свои довоенные праздники, они видели теплые, сверкающие елочным сиянием свои комнаты в больших, далеких отсюда городах, многие из которых были заняты врагом.

Они помнили смех, стук хлопушек, блеск глаз и возбуждение, и праздничную, радостную смятенность души, и тайный, им одним известный смысл общих новогодних пожеланий, и беззаботный гул многих голосов, и ожидание счастья...

И они хотели передать это нам, пусть не полностью, они хотели, чтобы теплый ветер прошелестел над нашими стриженными головами, над нашими уроками, над нашим одиночеством, чтобы ожидание счастья на мгновение пересилило ожидание писем с фронта. И они суетились больше, чем в конце учебного года, когда приезжают инспектора из района.

Но не было самого главного — Деда-Мороза, потому что ни в школе, ни в поселке ни один мужчина тогда не проживал. Был только сторож Исаев, но он был глухой. Заводские же работали круглосуточно.

Предлагались разные варианты: учительница географии — женщина резкая и мужественная как в суждениях, так и в оценках. Но она была начисто лишена артистизма. Пионервожатая, — но она была мелковата и высокоголоса, и ей пришлось отказать.

Все это делалось как бы втайне от нас, и поэтому мы узнавали все новые и новые подробности. А праздник приближался...

Мы ввалились в зал поселкового клуба, в котором до недавнего времени был госпиталь, переведенный сейчас в область. Первым делом нам по списку выдали подарки: баранки и конфеты-подушечки. Потом мы сели вокруг елки. Это была таежная настоящая елка. Она была сурова, темна, верхушка ее упруго гнулась под потолком и казалась шапкой, заломленной набекрень. На могучем ее теле украшений было немного, они висели скупно, как орден на зеленом френче.

Она пахла лесом, как младенец материнским молоком. Лесной дух еще не успел утихнуть и присмиреть в ней, и, казалось, широкие ветви только притворились неподвижными.

— Учащиеся младших классов, возьмитесь за руки, будем петь «В лесу родилась елочка», — сказала директора.

Дети взялись за руки и запели. Но песня эта никак им не удавалась. Они привыкли к другим песням, которые

знали наизусть, которые пели заглубевшими от недетской страсти и ненависти голосами: «Пусть ярость благородная...» Таким песням научило нас и их наше детство, и нам нелегко было перестроиться. Я не помню, чем кончилось это пение, кажется, оно и вовсе расстроилось, потому что военные песни были здесь некстати, а других мы не знали. Потом выскочила Снегурочка — отличница Карпова из девятого класса. Но никто не принимал ее всерьез, поскольку знали, что партнера у нее нет, а без Деда-Мороза Снегурка никуда не годится. И когда она его призывала, вскидывая руки, в зале начались смешки.

Но вот дверь отворилась, и мимо скамей, прямо на елку двинулся какой-то странный, худой и маленький Дед-Мороз. Он шел старательно и твердо, слишком старательно и слишком твердо, как человек, не умеющий крепко держаться на ногах. Казалось, он пьян.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Дед-Мороз.

Мы отвыкли от мужских голосов, а этот голос был зычный, командирский, да и само обращение «товарищи» поразило младшеклассников.

— Ну, как вы учитесь?

— Хорошо и отлично, — сказали дети хором с некоторой неуверенностью. Он встал в центр круга и затеял какую-то катавасию со Снегуркой. Причем делал он все неумело и неловко. Снегурка терялась от его неумелости, а в рядах младшеклассников снова начался ропот. Прибежали классные, они стали увещевать детей, но они все больше расходились. И тут мы увидели, как наш Дед-Мороз повернулся к нам и сказал растерянным, севшим голосом: «Ну, чего это вы, ребята?»

И он сбросил желто-пунцовую маскарадную маску Деда-Мороза. И мы увидели рябое, обожженное лицо, маленькие, широко расставленные голубые глаза. И мы узнали его. Это был Федоров, танкист, он находился здесь в отпуске после сильного ранения в ноги и очень редко появлялся в поселке. Дочка у него погибла во время транспортировки из Москвы сюда, в Сибирь, а жена чудом уцелела.

Он был единственный мужчина в поселке, и вот наши женщины уговорили его побыть немного Дедом-Морозом, и он согласился.

Но все-таки остался собою — лейтенантом Федоровым,

а дедом стать не сумел. Мы притихли, мы поняли, что цирк кончился. Мы поняли, что не сможем петь песенку про елочку. Мы знали, что есть всякие Деда-Морозы, они для того и приходят, чтобы малолетки дурачились вместе с ними, но наш дед был танкистом и был ранен, и мы не могли дурачиться с ним. Петя Кафанов, чей отец тоже был танкистом и дрался под Москвой и на Волге, а сейчас был неизвестно где, спросил:

— Скажите, а в каком году будет победа?

И Дед-Мороз — лейтенант Федоров, который знал все как танкист и как Дед-Мороз, сказал:

— Победа, товарищи, будет в этом, наступающем году.

И стало очень тихо, и все задохнувшись, замерли в удивительном и остром предчувствии счастья.

Был новый, 1943 год.

На два года лейтенант Федоров ошибся.

Но это мы узнали много позже...

А тогда, через несколько месяцев после праздника, мы проводили его на станцию, а там он сел на товарняк, который должен был довезти его до железнодорожного узла, откуда уже у него была знакомая дорога, дорога на фронт.

Была весна, снег еще не стаял. Он лежал вокруг платформы, желтоватый, как сыр, и таял незаметно и медленно. Начиналась весна сорок третьего года.

Наш новогодний Дед-Мороз улыбался нам и махал фуражкой. Мы тоже улыбались и тоже стояли без шапок.

Дул резкий, но уже не холодный ветер, щемящий и обещающий перемены. Мы улыбались, махали руками, и Петя Кафанов улыбался вместе со всеми и что-то кричал лейтенанту.

Я так и знал, что он будет улыбаться, как и все другие ребята, и также махать лейтенанту рукой.

А плакать он будет потом. Когда товарняк уйдет и ребята разбредутся по домам. Плакать он будет дома, когда останется один. А если мать придет пораньше, то Петька усмехнется и подробно спокойно расскажет ей, как вместе с другими ребятами провожал Деда-Мороза — лейтенанта Федорова.

1 мая 1944 года мы собрались в 7 часов во дворе нашей школы. Нам выдали красные плакаты с надписью «Наше дело правое, враг будет разбит!» и портреты вождей. Наша колонна потянулась к центру города. Людей было много, некоторые пришли прямо с ночных смен. Они шли в спецовках, лица у них были особенно бледные в утреннем ясном, даже резком свете. Некоторые доставали из платков и мешочков какую-то еду и торопливо, на ходу ели. Но потом, когда мы все вышли на главную площадь, люди перестали переговариваться и есть.

Стало тепло, тесно и тихо. Только скрипела тоненькая фанера транспарантов, глухо, глинисто чавкала мокрая, в лужах земля, придавленная тысячами ног.

На деревянной щелястой трибуне стояло несколько человек. Я знал только секретаря горкома комсомола: он приезжал как-то в школу и проводил беседу. Тогда он показался нам самым главным. Он был в застегнутом наглухо кителе, а на бедре у него висел маленький браунинг. Было не совсем понятно, зачем ему в тылу, так далеко от фронта, оружие, но потом мы решили: раз носит, значит, надо. Но здесь, на трибуне, он был далеко не главный. Здесь главные были другие, а он скромненько стоял во втором ряду, и его почти не было видно.

В середине трибуны стоял очень высокий и худой человек, с морщинистым, но не старым еще лицом, с непокрытой, совершенно белой головой, которая как-то странно возвышалась и светлела над зелеными кепками, над темными шляпами, над военными фуражками, как будто это была вершина горы, на которой лежит снег.

Он сказал высоким, мальчишески звонким голосом куда-то мимо микрофона:

— Мы открываем митинг всех трудящихся нашего города, посвященный Дню международной солидарности пролетариев — 1 Мая.

Что-то было в его голосе и виде, что подействовало на меня, и теперь я ждал чего-то очень важного. Я даже сам не понимал чего. Чего-то важного и торжественного. Не то чтобы пышного, а именно торжественного, значительного, того, чего я никогда потом не забуду.

Я неожиданно вспомнил своего историка, своего клас-

сного. Я знал, что его нет, что он погиб, но я искал его глазами. Он всегда шел во главе нашей колонны, а вот сейчас его не было. Его не было в этом городе, в этом Первомае. Его не было вообще. Это было очень просто. Его не было нигде. Это было очень просто, и я не мог понять этого. Мне захотелось, чтобы рядом был кто-то нужный, близкий мне.

Хайдер! Был у меня друг здесь, маленький, темнолицый татарин, не по годам суровый, молчаливый, справедливый до жестокости... Но его почему-то нет. Где он? Я оглядываю весь наш ряд, не нахожу его. А на трибуне между тем выступал председатель горсовета. Он говорил четко, внятно и все время низко склонялся к микрофону. От этого голос у него делался слишком громкий, слишком металлический. Он говорил долго. Все слушали его сначала. Он говорил не по бумажке, но так, будто перед ним все время была невидимая бумажка, — складно и четко: о войне, о победе, о партии и народе, но он не говорил того, чего я ждал... Он не волновался. И вдруг во мне что-то ослабло, пропало это напряжение, что было вначале. Он по-прежнему низко склонялся к микрофону, «доносил» каждое слово, а ребята томились и переговаривались почти вслух... Наконец он кончил. Тогда микрофон передвинули опять к середине трибуны, где стоял седой... Седой остановился на секунду, его лицо, старое и одновременно молодое, все в глубоких, резких, как шрамы, морщинах, было неподвижно и как-то далеко от нас, точно он забыл о том, что ему надо говорить... Но потом словно вспомнил, качнул головой и сказал опять не в микрофон, так что голос чуть не потерялся:

— Товарищи дорогие, хороший это праздник Первомай, я его с детства люблю. Были у меня разные Первомаи, мальчишкой на маевку ходил, под Сормовом, работчим по Красной площади проходил — видел Ленина на трибуне... А последние Первомаи были такие, что и о празднике не думаешь, и о весне не думаешь, и ни о чем, кроме одного: выстоять и победить. Но раз мы выстояли в сорок первом, сорок втором и сорок третьем, то уж сейчас как-никак выстоим, продержимся, победим.

Я почему-то верил этому человеку. Верил его звонкому, накалявшемуся и тяжелевшему с каждой секундой голосу, его длинным худым рукам, что неподвижно ле-

жали на трибуне, сжатые в большие кулаки, и только очень редко, когда он особенно волновался, поднимались над его белой головой, как два ядра... В конце концов, я знал все, что он говорит. Это было не ново. Но дело тут не в том, знаешь ты, что говорит человек, или нет. Дело в том, как он говорит и какой он сам. Веришь ли ты ему или нет. Этому я верил. Верил резким морщинам и глазам, старчески легким волосам, шевелящимся на ветру. На груди его был один-единственный орден, в матерчатой красной окаемке, каких сейчас не носят. По-моему, это был довоенный орден Красного Знамени. Я такие ордена только в Музее Революции видел.

Когда он кончил, все захлопали. Это был глухой звук материи, потому что многие еще носили варежки и перчатки. Что-то было странное, сильное в этих глухих, тяжелых, как топот ног, аплодисментах. Седой резко взмахнул рукой, и оркестр, стоявший влево от трибуны, заиграл «Интернационал». Мы сдернули с голов кепки, военные на трибуне приложили руки к козырькам, а говоривший речь стоял устало, опустив руки, и слушал так внимательно, даже настороженно, будто «Интернационал» при нем исполняли впервые. Может, он так прислушивался, потому что боялся, что оркестр сыграет не так сильно, как надо, что оркестр сфальшивит. Но оркестр не фальшивил — играл как следует. Все стояли навытяжку и слушали «Интернационал», будто его играли для них первый раз.

Потом мимо трибуны пошли те солдаты, что были ранены, а теперь выписывались из госпиталя и на днях отправлялись на фронт. Оркестр играл марш, и солдаты шли, держа парадный строй. Он был четкий, но не безупречный. Наверное, от того, что они долго лежали в госпитале и отвыкли от маршировки. А может, просто есть особые войска, которые владеют искусством парадного марша.

Затем все остальные демонстранты двинулись по площади, и теперь уже оркестр играл «Пусть ярость благородная вскипает, как волна», и кто-то начал вполголоса подпевать, и тогда вся площадь подхватила песню. Тот седой на трибуне тоже пел, мне даже казалось, я слышу его высокий, не по годам звонкий голос. Мы тоже тронулись с места и шли мимо трибуны, и я вновь пожалел, что Хай-

дера нет рядом. Мы шли очень хорошо, безо всяких зампов, каждый старался не выбиться из общего марша.

Мы быстро прошли площадь и теперь двигались назад, в школу. Надо было отдать на склад транспаранты, флаги и портреты. На улицах было так тихо, что даже до школьного двора доносились ухающие тяжелые звуки оркестра. Мне снова захотелось туда, на площадь. Но идти было бессмысленно: митинг шел к концу.

Ребята уже разбежались, а я не знал, куда деться. Домой идти не хотелось, все равно там никого нет. Я зашел в наш класс, мне показалось, что в парте я забыл алгебру Киселева.

В самом конце, на задней парте среднего ряда, кто-то сидел, вернее, полулежал, опустив голову на руки.

Это был мой товарищ Хайдер.

Казалось, он спит.

— Хайдер, — крикнул я, — проснись!

Он не ответил, не поднял головы. В недоумении я подошел к его парте. И невольно щелкнул его по затылку.

— Чего надо? — пробормотал он глухо, неразборчиво, в доску парты.

— Ты чего, одурел, что ли? Все на демонстрации, а он спит!

— Я не сплю, — все так же неразборчиво, неясным, как бы стертым голосом проговорил он.

Потом он поднял лицо и посмотрел на меня красными, оцепеневшими пьяными глазами.

— Ты напился? — тихо спросил я.

— Н-нет, — сдавленно протянул он.

— Может, ты заболел?

Он тяжело покачал головой.

— Что же ты ведешь себя, как псих? Все пришли на митинг, а он в классе сидит. Ну и дурак, много потерял. Знаешь, какой митинг колоссальный был! Солдаты из госпиталя, которые уже выписались... Парад, оркестры! А потом мужик один выступал — здорово так говорил про то, как мы должны помогать фронту. Весь город был... Даже отец, как занят, и то пришел. Очень здорово было. Дурачок ты, ей-богу!

Мне хотелось, чтобы он понял, как там было, чтобы он понял, что он потерял. Я говорил что-то еще, быстро,

возбужденно. Он все так же оцепенело, неподвижно смотрел на меня неживыми, тусклыми глазами.

Мне вдруг в голову пришла сумасшедшая мысль, что сейчас он не понимает по-русски, у него иногда бывали такие минуты, когда он будто бы и не понимал по-русски, когда он понимал только по-своему, по-татарски... В самом-то деле он, конечно, всегда понимал, а только так смотрел, будто не понимает. Я замолчал. Я не любил, когда он делает такой вид.

Он опустил голову на руки, крепко сцепил пальцы. И тут я увидел, что голова его мелко, почти незаметно дрожит. И вот уже эта дрожь передалась плечам, и плечи тоже затряслись, только не мелко, а круто, резко, волнами.

— Что ты, что ты... — быстро сказал я.

Он шевельнул плечами, словно сбрасывая с себя эту дрожь, но она не уходила, она разламывала его и качала из стороны в сторону.

— Отца... — крикнул он ломающимся, незнакомым мне голосом и жестко ударился лицом в крышку парты. Затем с огромным усилием он поднял маленькое, серое, помертвевшее лицо. — Отца, отца... — повторил он и что-то еще хотел добавить, но не смог.

Потом он задохнулся и замолчал, и щеки у него свело. Он встал из-за парты, повернулся к окну, не глядя на меня, тихо, тускло сказал:

— Отца во вторник убили. Мать еще не знает.

Он аккуратно достал из кармана своей бесцветной гимнастерки листочек бумаги, развернул его, совсем близко поднес к глазам и внимательно прочитал, точно проверял правильность написанного. Затем он так же аккуратно сложил листочек вдвое и бережно положил в карман.

Оркестры на площади еще играли — в тишине их было слышно очень отчетливо.

И весь вечер я ходил по праздничному городу, слушал песни и сам пел вместе с людьми и вдруг замолкал, потому что вспоминал об отце Хайдера. Все так смешалось: смерть и жизнь, горечь и радость, весна и война — и трудно было в этом разобраться...

Это было больше двадцати лет назад. С тех пор я убедился в том, что все-таки радость побеждает горечь, жизнь — смерть, весна — войну, и это непреложно, иначе не стоило бы жить.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Мы еще вернемся за подснежниками	5
Мáнсур — бунтующая целина	21
Чистое сердце горняста	33
Первая бессонница	43
Султан-Санджар	57
Ночной сеанс	71
Станция первой любви	89
Баллада о Вальке Зыкове	111
Музыка на вокзале	121
Классный	143
Дед-Мороз сорок третьего года	149
Первомай	154

К читателям

Издательство просит
отзывы об этой книге
присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Амлинский Владимир Ильич

ПЕРВАЯ БЕССОННИЦА

Рассказы

Ответственный редактор Е. М. Подкопаева.
Художественный редактор С. К. Пушкиова.

Технические редакторы

О. В. Кудрявцева и Т. В. Перцева.

Корректоры

Л. М. Николаева и М. Б. Шварц.

Сдано в набор 2/X 1966 г. Подписано к печати
28/XII 1966 г. Формат 84×108¹/₃₂ — 5 печ. л.
8,4 усл. печ. л. (8,32 уч.-пзд. л.). Тираж 100 000 экз.
ТП 1966 № 296. Цена 35 коп. на бум. № 2. А 19 146.

Издательство "Детская литература".

Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика "Детская книга" № 1 Росглавополиграф-
прома Комитета по печати при Совете Министров
РСФСР.

Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 5224.

